

Виктор Кустов

Новеллы Пятигорья

(Знаменитые люди на Водах)

12+

Виктор Кустов

**Новеллы Пятигорья.
Знаменитые люди на Водах**

«ЛитРес: Самиздат»

2020

Кустов В. Н.

Новеллы Пятигорья. Знаменитые люди на Водах / В. Н. Кустов —
«ЛитРес: Самиздат», 2020

Северный Кавказ, и особенно Кавказские Минеральные Воды, в конце XIX начале XX века стали местом паломничества талантов государства Российского. В этом сборнике 25 новелл о пребывании на водах известных исторических личностей. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Содержание

«Я ждал беспечно лучших дней»	5
«Занятно увидеть эти воды...»	15
Тайный визит	20
Долгое лето	25
Предчувствие	31
Вечер в Железноводске	36
Война и свобода...	43
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Виктор Кустов

Новеллы Пятигорья.

Знаменитые люди на Водах

«Я ждал беспечно лучших дней»

– Ну, Пушин, что же ты так долго обижаешься? – блестя голубыми глазами, выделяющимся на загоревшем и обветренном после долгого путешествия лице, Пушкин смотрел на товарища. – И отчего всё не можешь простить Дорохова?.. С ним так замечательно проводить время. И любая дорога незаметна и коротка. Ну, прости его, наконец! Он так виноватится и обещает никогда больше столь нехорошо не поступать.

Пушкин всё расхваливал достоинства Дорохова, которого и знал-то всего ничего, но отчего-то обязательно хотел с ним ехать вместе.

Пушин продолжал обиженно молчать.

– Бедный Руфин нижайше, – Пушкин выделил это слово, – просит твоего прощения и позволяет прибить его, ежели он не сдержится и ударит какого-нибудь нерасторопного неумеху... – Подавшись к тому, не так громко и более серьёзно добавил: – Поручик немало пережил, прости же ему его несдержанность... – И то ли попросил, то ли уже отметил преимущество принятого решения: – Пушин, нам славно будет ехать втроём...

Он не сомневался: Пушин уже согласен, лишь делает вид, демонстрируя свою приверженность либеральным взглядам. Естественно, поступок Дорохова не делает тому чести, как бы неловок ни был денщик, тузить его, да к тому же прилюдно, совсем не обязательно. Но судьба Дорохова делает этот поступок достойным снисхождения и даже описания: он обязательно выведет его в каком-нибудь из своих сочинений. То, что он уже услышал от Дорохова, вызвало в нём неподдельный интерес и сочувствие. Это же надо, в тот самый год, когда он с Раевскими впервые приехал на Воды, Дорохов, сын генерала, был разжалован из прапорщиков в рядовые «за буйство и ношение партикулярной одежды», следующие семь лет прослужил рядовым на Кавказе и лишь спустя это время «за отличие против персов» сначала произведён в унтер-офицеры, затем в прапорщики и, наконец, «за отличие в сражении против турок» – в поручики. Он живо представлял, сколько интересных историй может тот рассказать...

И из-за обиды или взглядов Пушина упустить случай пообщаться с таким человеком, расспросить его о перипетиях судьбы и геройстве?..

– Пушин, голубчик, он ведь такой же боевой офицер, как и ты... И, поверь мне, твой брат и мой лицейский друг простил бы его... -привёл он последний аргумент.

– Ну, хорошо, хорошо, – наконец сдался тот, всё ещё выдерживая строгое выражение лица. – Пусть едет. Но более никакого самодурства...

– Он клянётся...

...Дорога из Владикавказа до Горячих Вод в компании с милейшим, но уже изрядно наскучившим Пушиным и импульсивным Дороховым и впрямь оказалась короткой. Дорохов, несмотря на перенесённые невроты и несправедливость, выпавшие на его долю, держался с естественным достоинством, любую беседу поддерживал к месту, делая меткие замечания и высказывая завидные знания о разных предметах. И, в то же время, по любому пустяку готов был вспыхнуть, и только благодаря дипломатичному Пушкину они доехали без каких-либо эксцессов. Чуткий Пушкин умел вовремя перевести любой острый разговор на менее спорную и волнующую тему и всё старался выпытать у Дорохова про его службу и подвиги. Но тот не был настроен, видимо, из-за строгого Пушина на воспоминания, и он сам охотно стал рассказывать

о своих впечатлениях от драгун и казаков и о том, как они с Потокским поднимались на Крестовую гору, а по дороге им пришлось преодолеть «Чертову долину» и «Ледяной мост». Под ним тогда был прекрасный конь, и эта поездка, виды совсем близких белых вершин, дыхание легенд, которые помнили эти места, зарядили его, даря незабываемые впечатления. Поразил и природный контраст, когда от холодных вершин спустились к Арагве, в зной и лето...

Рассказал и о печальной встрече за Кавказскими горами с покойным Грибоедовым, с которым до своей отставки служил в одном департаменте.

– А я ведь последний раз виделся с ним в Петербурге в прошлом году, – поделился Пушкин с попутчиками тем, что отчего-то никак не оставляло его, настолько разительное было это сопоставление: язвительный живой Грибоед и его безмолвное тело. – Он тогда как раз собирался в Персию. Ах, как печально, что его уже нет... Но вы знаете, – и, повернувшись к Дорохову, выказывая ему этим своё расположение, продолжил: – Ты это поймёшь, поручик, его судьбе можно позавидовать... – Сказал и бросил взгляд на Пущина. Тот был, как всегда, серьёзен, а Руфин слушал с интересом. – Думаю, смерть для него не была ужасна, она была мгновенна и прекрасна. Я знаком с ним десять лет и, хотя товарищами мы не были, смог разобраться в нём. Говорят, он был безмерно честолюбив... Но ведь и мил... А его «Горе от ума» полно метких выражений, пусть и не всегда выдержаны характеры...

И он пустился в пространные рассуждения о том, что для того, чтобы стать любимцем славы, совсем не обязательно командовать войсками, подобно Наполеону или Кутузову, и что комедия «Горе от ума» есть несомненный успех, ставящий автора в ряд с первыми поэтами. А женитьба по любви на иноземке свидетельствует о сильном характере и завидной страсти...

Сказав об этом, он на какое-то время изменился в лице, вспомнив своё неудачное сватовство к Гончаровой, отчего, собственно, и сбежал сюда, на Кавказ, и попросился в Арзрум, в войска, к Раевскому, к туркам, может быть, даже втайне мечтая либо отличиться в каком-нибудь сражении, либо получить рану и вернуться отмеченным печатью мужества, позволяющей ставить себя выше всяческих обид и заслуженно принимать восторги девиц...

Когда разговаривать надоедало (в карты играть Пушин не разрешил), Пушкин брал у одного из казаков, сопровождавших их, лошадь и скакал от тракта в степь, заставляя волноваться и спутников, и сопровождающих. Наездник он был замечательный, держался в седле уверенно, и, наблюдая за ним, те и любовались ловким всадником, и опасались, не наскочили бы невесть откуда горцы.

Но Бог был милостив.

Так незаметно и довольно скоро доехали до Горячеводска.

Быстро разместились на недолгое житьё, и Пушин, который собирался уже на следующий день отправиться в Кисловодск, прописанный для лечения его раны, предложил немедля, пока солнце не зашло, осмотреть городок.

Пушкин, настроение которого отчего-то изменилось в худшую сторону, составить компанию отказался.

– Я уж тут всё знаю как свои пять пальцев, – сказал он. – Пожалуй, лучше останусь.

– Я намерен завтра же отправиться дальше, – напомнил Пушин.

– Не замедлю следом, – заверил Пушкин. – Только вот завтра с тобой ехать не в состоянии. Хочу здесь денёк-другой отдохнуть.

Оставив товарища в полной уверенности, что тот действительно проведёт это время восстанавливая силы, вернувшийся уже потемну, Пушин застал за картами возбуждённых Пушкина, Дорохова и мало знакомого им офицера Астафьева, о котором ходила слава не только как о приятном собеседнике, но и азартном картёжнике, игравшем не столько из интереса, сколько с желанием улучшить своё материальное положение.

В ответ на осуждающее выражение лица вошедшего, помня о своём обещании, данном Пушину, не играть во время путешествия, Пушкин поспешно оправдался:

– Мы довольно терпели, но ведь слово было дано не играть до Вод, а здесь мы выходим из-под твоей опеки... – И услужливо пододвинул стул. – Пушкин, не хочешь ли и ты присоединиться к нам?..

– Ты прав, слово было дано не играть между собой до Вод. Ты слово сдержал... – принял оправдание тот, но играть отказался.

Да и компания скоро расстроилась, было уже поздно. Довольный немалым выигрышем, ушёл Астафьев. А немного погода и Дорохов.

Когда остались вдвоем, Пушкин спросил:

– Разве тебе знаком Астафьев?.. Как он оказался в вашей компании?

– Очень просто, – беззаботно ответил Пушкин. – Мы начали играть с Дороховым, а Астафьев, проходя мимо, зашёл познакомиться. Оказалось, что он добрый малый и в карты любитель поиграть.

Пушкин собрался было сказать что-то важное, да, глядя на безмятежное, несмотря на проигрыш, лицо Пушкина, промолчал. Но на следующий день перед отъездом не выдержал.

– Дай мне твёрдое обещание не играть с Астафьевым?.. Он умелый игрок, и о нём идёт дурная слава. Ты не сможешь отыграться.

– Ну уж дудки! – вспыхнул Пушкин. – Обещания не даю, Астафьева не боюсь...

– Смотри, как бы потом не пожалел, – мрачно предрёк Пушкин, отправляясь в путь.

– Я его не боюсь, – вновь повторил Пушкин, торопя отъезд и ощущая себя шаловливым ребёнком, которому не терпится поскорее остаться одному без всякого контроля.

Он проводил взглядом отъезжающего Пушкина, который казался ему гораздо старше своих лет, и вздохнул с облегчением: даже дружеская опека его досаждала. Он не сомневался, что и так за ним учинён секретный надзор, что, помимо добрых друзей, у него немало и врагов, радующихся его неудачам. Что же касается Астафьева, тот действительно игрок серьёзный, но оттого-то и азартно, оттого-то и хочется вернуть проигранные деньги...

Но задержаться в Горячеводске он решил исключительно по другой причине, тайной, о которой никому не говорил. Если по пути в таинственный Арзрум он не давал воли воспоминаниям о первой – давней – поездке в эти места, то теперь эти воспоминания, не сдерживаемые более отвлекающей новизной дороги и неведомыми прежде впечатлениями, нахлынули, вызывая ностальгические и трепетные чувства. Не так давно он написал строки, которые посвятил Наталье Гончаровой, но самому себе должен был признаться, что за скользким по бумаге пером ему виделся другой образ. Правда, этот волнующий образ уже навсегда остался в прошлом (хотя его можно было угадать и в юной Натали, которая, несомненно, он так решил, будет его женой), олицетворив собой всех, чьи черты когда-то заставляли учащённо биться его сердце. И прежде всего, черты Марии, Машеньки Раевской, которая жила в его памяти нежной, ангельской чистоты девочкой, не ведавшей, какие испытания ей доведётся пережить... Вспоминая тёплые томные вечера в этом южном городке, располагающие к возвышающим размышлениям и страстной любви, он начал было стихотворение строкой: «Всё тихо, на Кавказ идёт ночная мгла...», но потом подумал, что его будущей жене трудно будет объяснить эти строки, и начал иначе:

*На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, тобой одной... Уньинья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит- оттого,
Что не любить оно не может...*

Писал и попеременно видел перед собой два образа. Тот, давний, уже в пелене минувшего, отдалившийся и вызывающий светлую грусть невозвратных воспоминаний, и сегодняшней, трогательно юный, в тумане грядущего обещающий счастье и радость...

Нынче он сам выбрал это путешествие, а тогда, девять лет назад император, обидевшийся, раздосадованный его вольнодумством, отправил на юг, подальше от столицы, от двора, дабы он понял непристойность и неблагодарность своего поведения. И он вынужден был подчиниться, хотя, признаться, не особенно и страдал от подобной немилости: ему нравилось видеть новые места и людей, а обида императора не очень волновала. Он ехал с удовольствием, впитывая дорожные впечатления, предаваясь созерцанию новых, так разительно отличающихся от родной стороны мест, останавливаясь больше положенного там, где ему нравилось, и в приднепровском селении, недалеко от конечной точки назначения, его больного и нашёл лицейский товарищ Николай Раевский, едущий с семейством на Кавказ. Он незамедлительно направил к нему семейного лекаря, который сразу же взялся лечить от лихорадки, вызванной, как считал Пушкин, недавним купанием в Днепре, и, не ожидая полной поправки, они все вместе поехали лечиться водами. И сёстры Раевские, совсем девочки, очаровательные, восторженные, заставляли сердце поэта ускорять свой бег, он долго не мог понять, которая из них ему нравится больше, но с Марией ему всегда было легко и просто, и стихи, посвящённые ей, рождались без всякого труда...

В ту поездку он впервые увидел снежные зубцы Кавказского хребта. Увидел прежде издалека, с вершины возвышенности, на склоне которой в одну улицу снизу вверх поднимался Ставрополь -крепость, форпост России в этих безлюдных степных просторах, городок военных, казаков и торговцев. Эти снежные зубристые вершины, пересекающие весь горизонт, словно вгрызающиеся в белесое небо, поразили его и в этот раз, когда он ехал через тот же Ставрополь в Арзрум. Поразили своей неизменностью и неизбежностью по сравнению с быстротечностью человеческой жизни...

Боже, сколько событий прошло с той поры...

Тогда он был моложе...

Он был совсем другим...

Они все были другими.

Отец его товарища генерал Раевский был ещё бравым и энергичным. Его лицейский товарищ Николай Раевский – полным мечтаний и надежд молодым офицером. Как ему завидовал Пушкин, ведь тот отроком в тринадцать лет был с отцом и при Бородино, и под Смоленском, и дошёл до Парижа...

Нынче Раевский-младший уже генерал, командует драгунским полком, и к нему, собственно, и ехал Пушкин. И теперь он знает, в какой палатке переживает затишье между сражениями его давний друг. И как воюет брат Лев, встрече с которым он тоже был несказанно рад. Тот горд, что служит под началом Раевского, участвовал в персидско-турецкой кампании. Он стал совсем взрослым и, несмотря на то, что младше, кажется более умудрённым.

Война, несомненно, меняет людей.

Война и Кавказ.

В этих местах есть нечто, таящееся в самом воздухе. Когда они с Потокским спустились с Крестовой горы и встретили гонца, спешившего в Петербург с донесением о славной победе над турками, он не смог сдержать охвативший его восторг и от этой вести, и от буйной растительности после оставшегося наверху снега, и от щедрого солнца, крикнул «ура», подхваченное спутниками, и даже стал советовать спешить в армию: «Война может скоро кончиться, и вы, господа, можете остаться ни при чём, на бобах...» И сам сожалел, что не военный...

Время подвластно только Богу. Жаль, что нельзя вернуть прошлое.

Впрочем, отчего же нельзя...

*Я помню море пред грозою;
Как я завидовал волнам,
Бегищим бурной чередою
С любовью лечь к её ногам!*

Эти строки он когда-то написал Марии. Они все тогда, включая старших, беззаботно верили в нескончаемое счастье впереди. Правда, он эгоистично считал, что для Маши оно возможно только с ним. Но потом они отдалились, и Мария вышла замуж. И её молодой муж был на Сенатской площади.

А нынче, в далёкой и холодной Сибири, верная своей любви, мужу, пережившая смерть сына, как чувствует себя Мария Раевская?.. Какие волны омывают её ноги?.. Сенатская площадь, на которую он не попал, стала для многих его друзей тем самым Рубиконом, перейдя который, к привычному они уже не могли возвратиться. И в их числе и она, восторженная светлая девочка, любящая и верная жена и отважная, способная на самопожертвование женщина – Мария Волконская...

Будет ли так любить его Натали, как умеет любить Мария своего мужа?..

Пойдёт ли его будущая жена (если судьба уготовила ему такое испытание) за ним в ссылку?

Он не мог однозначно ответить на эти вопросы и оттого огорчился и прогонял их прочь.

И вновь оживлял видения прошлого, навсегда оставшиеся на этих знойных улочках

Как возвышенны и чисты эти воспоминания...

Как целен и благороден образ, который он представляет.

Каково ей теперь в далёком и неведомом ему Иркутске...

Там, должно быть, уже холодно, а здесь, на Кавказе, август ещё жарок и вершины гор, за исключением Эльбруса, ещё не начали обряжаться в белоснежные папахи.

Ах, как же они были здесь счастливы девять лет назад!

Как было всё в новь, свежо, интересно!

Как было мило в окружении славных Раевских. И он тогда посвятил своему другу одно из своих лучших творений. Во всяком случае, все говорили, что оно лучшее...

*Прими с улыбкою, мой друг,
Свободной музы приношенье;
Тебе я посвятил изгнанной лиры пенье
И вдохновенный свой досуг.
Когда я погибал, безвинный, безотрадный,
И шёпот клеветы внимал со всех сторон,
Когда кинжал измены хладный,
Когда любви тяжёлый сон
Меня терзали и мертвили,
Я близ тебя ещё спокойство находил;
Я сердцем отдыхал – друг друга мы любили;
И бури надо мной свирепость утомили,
Я в мирной пристани богов благословил.
Во дни печальные разлуки
Мои задумчивые звуки
Напоминали мне Кавказ,
Где пасмурный Бешту, пустынный величавый,
Аулов и полей властитель пятиглавый,*

*Был новый для меня Парнас.
Забуду ли его кремнистые вершины,
Гремучие ключи, увядшие равнины,
Пустыни знойные, края, где ты со мной
Делил души младые впечатленья;
Где рыскает в горах воинственный разбой
И дикий гений вдохновенья
Таится в тишине глухой?
Ты здесь найдёшь воспоминанья,
Быть может, милых сердцу дней,
Противоречия страстей,
Мечты знакомые, знакомые страданья
И тайный глас души моей.
Мы в жизни розно шли: в объятиях покоя
Едва-едва расцвёл и вслед отца-героя
В поля кровавые, под тучи вражьих стрел,
Младенец избранный, ты гордо полетел.
Отечество тебя ласкало с умиленьем,
Как жертву милую, как верный свет надежд.
Я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем;
Я жертва клеветы и мстительных невежд;
Но сердце укрепив свободой и терпеньем,
Я ждал беспечно лучших дней;
И счастье моих друзей
Мне было сладким утешеньем.*

И вот в этот раз неожиданно за Кавказскими горами, возле самых турок, он нашёл измаранный список «Кавказского пленника» и перечёл его с большим удовольствием. Хотя всё это теперь виделось слабым, молодым, неполным, но многое угадано и выражено было верно. А Юзефович, адъютант Раевского, с Львом Пушкиным отыскали в его походном чемодане «Бориса Годунова», отрывки из «Евгения Онегина» и чистый автограф «Кавказского пленника», который Юзефович стал просить подарить ему. Но Раевский, объявив, что поэма посвящена ему, забрал этот автограф себе.

Пушкину было забавно и лестно наблюдать их спор.

Как замечательно, когда понимают многомерность слова, и как прекрасно жить в окружении умных людей...

Вот тот же Дорохов. Он остёр и умён и чувствует стих. Хотя бывает вспыльчив по пустякам. Но с ним не скучно. И можно сыграть в карты...

...Пушин теперь уже по дороге в Кисловодск, а он остался. Сослался на усталость, а на самом деле ему хотелось оживить приятные воспоминания. Лучше всего это получалось, когда он гулял по знакомым местам, где бывал с Марией. Правда, он нашёл большие перемены в городке. На месте лачужек, в которых находились ванны, теперь были дома. Появился бульвар, высаженный по склону Машука липами. Дорожки, цветник, павильоны поражали чистотой и ухоженностью. Ключи обложены камнями. В общем, везде порядок, чистота, красивость.

– Это, конечно, удобно. Но как скучно, – говорил он Дорохову, когда они прогуливались, коротая время. – Скучно ведь, Дорохов, скучно, когда нет дикости, тропинок над самой пропастью... Я знаю, Дорохов, ты меня как никто понимаешь...

И отчаянный поручик азартно соглашался, ему тоже уже не хватало погонь, стычек, ощущения опасности...

В том волнующем прошлом остались дымящиеся источники и опасные тропинки, по которым он лазил. И это рождало тоску. Но главное, отчего настроение становилось всё печальнее, а городок всё неуютнее, – невозможно было перенестись в то время, где они все вместе: он, Мария, Николай, Софья, корректный генерал Раевский и его жена Софья Алексеевна, приходящаяся внучкой Ломоносову, и все остальные домочадцы этого немаленького семейства... И даже без доктора Рудыковского было бы скучно. Он тогда мог себе позволить капризничать, глотая микстуру и чувствуя, как благодаря стараниям этого милейшего человека выздоравливает. И безнаказанно проказничать. Он знал, что все вокруг его любят, что Раевские добились для него отпуска, прервав его южную ссылку. И это настроение любимого ребенка, которому всё сойдёт с рук, подтолкнуло к тому, чтобы в книгу, куда вписывались имена гостей Горячеводска, присланную комендантом, начертать, что вместе с генералом, его двумя дочерьми и двумя сыновьями прибыли «лейб-медик Евстафий Петрович Рудыковский и недоросль Александр Сергеевич Пушкин».

Рудыковский потом с трудом убедил коменданта, что он никакой не лейб-медик, а Пушкин не недоросль, а титулярный советник... А генерал Раевский не на шутку рассердился...

Но отчего он теперь уже не может так беззаботно шутить?.. Всё же есть какое-то противоречие между настоящим и прошлым.

На отдалении прошлое приобретает неповторимый вкус, оно похоже на выдержанное, спокойное и одновременно уверенное в своей силе вино, в отличие от игристого, громогласного, напористого вначале и столь стремительно успокаивающегося затем настоящего...

Как нынче на новом бульваре выделяется дом генерала Мерлини, который в первый приезд ещё не был окружён другими строениями, отличаясь не только своим фасадом, но и обособленностью.

Но вот он уже мешает настоящему, уступая тем, что поновее, посовременнее. Правда, так же, как прежде, здесь привечают гостей. Пушкин держал в памяти эту удивительную пару Мерлини для какого-нибудь своего сочинения, в котором он опишет эти места, нравы, судьбы: отпрыска итальянца, бывшего придворным архитектором у польского короля, дослужившегося до генеральского чина в русской армии и осевшего на беспокойном Кавказе, и экстравагантной его супруги Екатерины Ивановны, лет на двадцать моложе Станислава Демьяновича, отличной наездницы, готовой при необходимости заменить генерала и в боевых действиях. Он даже задумал написать и уже начал «Роман на Кавказских Водах», в котором видел им место.

В прошлый приезд они с Раевскими были частыми гостями в доме Мерлини, нынче времени у него было не так много, да и хозяева стали старше, спокойнее, предпочитая круг общения нешумный и солидный. Но не нанести визит не мог.

Всем был хорош генерал Мерлини. Но нередко подводил его колоссальный педантизм.

Вот и на этот раз вышел конфуз. Пушкин решил всё же прочесть главу из «Бориса Годунова». Ту, где самозванец признаётся Марине, что он ненастоящий Димитрий. И генерал вдруг прервал его:

– Позвольте, Александр Сергеевич, как же такая неосторожность со стороны самозванца?.. Ну а если она его выдаст?

Пушкин был раздосадован этим вопросом и в ответ, не поднимая глаз от листа, лишь недовольно бросил: – Подождите, увидите, что не выдаст.

После этого он решил при Мерлини больше ничего не читать...

...Нет, невозможно войти дважды в одну и ту же реку.

Вот ещё по дороге в Арзрум занесло его к кочующим калмыкам. Не удержался от любопытства, заглянул в одну из кибиток этого калмыцкого жилища. И выделил, не мог не выделить среди взирающих на него с не меньшим любопытством, чем он сам, лиц девичье – выразительное и чем-то манящее смуглое лицо, багровые губы, ослепительно белые, ни дать ни взять – жемчуг – зубы. Не сдержался, попросил разрешения её поцеловать, уж очень хотелось

ощутить прикосновение иной, не похожей на уже изведенную плоти, пережить чувственный трепет. Но та застыдилась, замотала головой. А когда он, отведав чая с бараньим жиром и солью и заев всё это сушёной кобылятиной, решился сам добавить к новым гастрономическим ощущениям (или же избавиться от их необычности) вкус её губ, то получил ощутимый удар по голове, отбивший всякую охоту продолжать знакомство. Выскочил из кибитки и огорчённый, и обиженный, и развеселившийся от комичности ситуации одновременно. И сами собой сложились строки...

*Прощай, любезная калмычка!
Чуть-чуть, назло моих затей,
Моя похвальная привычка
Не увлекла среди степей
Вслед за кибиткою твоей. Твои глаза, конечно, узки,
И плосок нос, и лоб широк,
Ты не лепечешь по-французски,
Ты шёлком не сжимаешь ног...
Пока коней мне запрягали,
Мне ум и сердце занимали
Твой взор и дикая краса.
Друзья! не всё ль одно и то же: Забыться праздною душой
В блестящей зале, модной ложе
Или в кибитке кочевой?*

Белолицая недотрога Натали (к которой он обязательно отправится сразу же по приезде), дикая смуглая дочь степей, пленительная Мария Раевская, которую он помнил девочкой, теперь возвышавшаяся над всеми женщинами, которых он знал, примером самоотверженной женской верности; бездыханное тело язвительного Грибоеда; суровость его лицейского товарища – воина, ныне уже генерала Раевского-младшего; перемены, происшедшие здесь с братом Львом, колоритный, гортанно-многоязыкий Тифлис, яростные турки, так же ненавидящие русских солдат, как и горцы, военный палаточный лагерь, необлагороженный женской красотой, скоротечные баталии с пушечными дымами, к которым здесь привыкли и относились как к чему-то обыденному, – всё это теперь в далёком от всего вышеназванного, праздном Горячеводске искало выхода в словах, в стихах или прозе – неважно, главное, что он был уверен: всё это не было случайным в его жизни...

Но приходили не те слова, не те строки...

*Забывтый светом и молвою,
Далече от берегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
Над их вершинами крутыми,
На скате каменных стремнин,
Питаюсь чувствами немymi
И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой;
Душа, как прежде, каждый час
Полна томительною думой –
Но огонь поэзии погас.
Ищу напрасно впечатлений:*

Она прошла, пора стихов...

Но он уже ощущал, как полнится пониманием того, что вот-вот откроется ему и превратится в самые точные, единственно верные слова и строки. И это состояние, когда, опережая скрип пера, они, торопясь, будут ложиться на лист, становилось всё ближе и ближе, и он вновь ощутил беспричинную радость, подъезжая к Кисловодску, в котором ему так хорошо было девять лет назад.

Когда лошади стали подниматься по ущелью, привстал, оглядываясь по сторонам, волнуясь, отмечая и тут немалые перемены. В первый приезд это было небольшое селение, в котором главным сооружением являлась крепость с пятью бастионами, стоящая над горной речкой, совсем не грозной в летнюю пору. В крепости под защиту солдат и казаков должны были прятаться отдыхающие в случае набега горцев. Теперь же многое изменилось. Некогда пустынная, с голыми склонами, долина покрылась деревьями и цветами, высаженными по склонам. Среди них вились посыпанные песком дорожки, а через речку были перекинуты мостики. Ванны нынче принимали в особых строениях, а на каменном утёсе над гротом поднялся дом благородного собрания, ничуть не уступающий иным в больших городах.

Добавилось и домов, среди которых были и приличные, будто перенесённые из России.

...Теперь он пил минеральную воду и принимал нарзанные ванны. А ещё проводил время в сугубо мужской компании с Пушиным, Дороховым и прочими знакомыми, кого знал уже немало или с кем только что познакомился. Из казённой гостиницы, куда он поселился в первый день и где было неуютно и скучно, он перешёл в дом доктора Реброва, самое видное строение, где уже остановился поручик Шереметев, только что отслуживший в посольстве в

Париже и приехавший отдохнуть. Он был чрезвычайно хлебосолен, охотно повторял ставшую крылатой фразу: «Худо, брат, жить в Париже; есть нечего; чёрного хлеба не допросишься».

К обеду он обычно собирал всех знакомых, кормил вкусно, а после обеда, если не было настроения гулять и никуда не надо было идти, играли в карты.

Как ни старался Пушин предостеречь Пушкина, зная, что тот проиграл взятые у Раевского на дорогу тысячу червонцев, как ни пытался отвлечь от Астафьева, приехавшего также в Кисловодск, ничего не получилось.

Игра у Шереметева, как правило, азартной не была, и Астафьев там бывал не столь часто. Но однажды, возвратившись с прогулки, Пушкин высыпал на стол червонцы.

– Откуда такое богатство? – не преминул поинтересоваться Пушин. Тот озорно блеснул глазами, тряхнул вьющимися, изрядно отросшими кудрями и не без бахвальства произнёс:

– Должен тебе признаться, я всякое утро заезжаю к Астафьеву и довольствуюсь каждый раз выигрышем у него нескольких червонцев. – И гордо добавил: – Я его мелким огнём бью и вот сколько уж вытащил у него моих денег...

На столе лежало червонцев двадцать, а проиграл Пушкин тысячу.

И, наверное, долго пришлось бы ему «бить мелким огнём», чтобы вернуть хотя бы значительную часть проигрыша, да Астафьев скоро уехал, увозя с собой соблазн Пушкина отыгаться. А может, даже и надежду обыграть...

Время между ваннами (в начале и в конце лечения по одной ванне в день, а посередине по две) пролетело стремительно.

Наступил сентябрь.

Возвращались в войска подлечившиеся офицеры. Пора было отправляться домой и Пушкину.

8 сентября 1829 года он заявил в комендантское управление при Горячих минеральных водах подорожную: «Почтовым местам и станционным смотрителям от Санкт-Петербурга до Тифлиса и обратно. Г. чиновнику 10 класса Александру Сергеевичу Пушкину, едущему

от Санкт-Петербурга до Тифлиса и обратно, предписываю: почтовым местам и станционным смотрителям давать означенное в подорожных число почтовых лошадей без задержания и к проезду всякое оказывать пособие» и отправился в Россию по знакомому уже маршруту: Георгиевск «с конвоем по два кон-новоороужённых казака без малейшего задержания», Ставрополь, Новочеркасск...

И на этот раз был у него занимательный попутчик – городничий из Сарапула Василий Дуров, брат кавалерист-девицы Надежды Дуровой, выдававшей себя во время войны с Наполеоном за мужчину.

Они были одного возраста, но поразительно разные. Судьба свела их в Кисловодске, где тот лечился от какой-то удивительной болезни («вроде каталепсии») и играл с утра до ночи в карты. За карточным столом они и познакомились и сговорились ехать вместе.

Городничий был одержим идеей добыть, не нарушая закона, сто тысяч рублей.

Иногда, отчего-то более всего ночью, он будил Пушкина.

– Александр Сергеевич! Как бы, думаете вы, достать мне сто тысяч?

Пушкин, с трудом сдерживаясь, отмахивался.

– Коли такая нужда, я бы их украл...

– Я об этом думал, – вздыхал Дуров.

– Ну и что же?

– Мудрено; не у всякого в кармане можно найти сто тысяч, а зарезать или обокрасть человека за безделицу не хочу, у меня есть совесть.

– Ну так украдите полковую казну.

– Я об этом тоже думал.

– И что же?

– Это можно сделать летом, когда полк в лагере, а фура с казною стоит у палатки полкового командира. Можно накинуть на дышло длинную верёвку и припрячь издали лошадей, а там на ней и ускакать; часовой, увидя, что фура скачет без лошадей, вероятно, испугается и не будет знать, что делать, в двух или трёх верстах можно разбить фуру, а с казною бежать. Но тут много также неудобства. Не знаете ли вы иного способа?

– Просите денег у государя.

– Я об этом думал.

– Что же?

– Я даже и просил.

– Как! безо всякого права?

– Я с того и начал: ваше величество, я никакого права не имею просить у вас то, что составило бы счастье моей жизни; но, ваше величество, на милость образца нет, и так далее.

– Что же вам отвечали?

– Ничего.

– Это удивительно. Вы бы обратились к Ротшильду.

– Я об этом думал.

– Что же, за чем дело стало?

– Да видите ли, один способ выманить у Ротшильда сто тысяч; это было бы так странно и забавно: надобно бы написать эту просьбу, чтоб ему было весело, потом рассказать анекдот, который стоил бы ста тысяч. Но сколько трудностей!..

Так до конца совместной дороги сарапульский городничий и не придумал, каким способом заиметь вожделенные сто тысяч. И пока его мысли были заняты этой проблемой, Пушкин под покачивание экипажа думал, что край этот кавказский, несомненно, достоин внимания и поездки сюда принесли ему немало славных и памятных дней.

И тогда, девять лет назад, и сейчас... Даст Бог, он вернётся ещё сюда.

«Занятно увидеть эти воды...»

Обратная дорога не казалась интересной, и более не впечатляли ни горные вершины, теперь уже основательно покрытые снегами, ни прозрачность осеннего воздуха, ни напоённые теплом степные просторы предгорья.

Когда Денис Васильевич Давыдов ехал сюда, всё было внове и на удивление, как бывает всё неизвестное – теперь же тяготило. А ему ещё надо было завернуть в ущелье к знаменитым Водам, куда он ехал подлечиться, по этой причине получив отпуск. Правда, отсюда возвращаться обратно в армию он не намеревался, собирался уйти в отставку и вернуться домой, где его ждала жена и его сыновья...

То ли баталии притомили, то ли действительно соскучился по Софье Николаевне и по домашнему уюту. А может, всё же из-за предчувствия, в котором он никому не признавался, но пугался, что как бы не напроорочествовал себе самому, как костромский монах Авель императору, им так нелюбимому, напроорочествовал тридцать лет жизни... Отчего-то ведь пришли в голову эти строки, после того как Николай I отправил его вдруг на войну с персами.

*Мы несём едино бремя,
Только жребий наш иной:
Вы оставлены на племя,
Я назначен на убой.*

И назвал это четверостишие он со смыслом: «Генералам, танцующим на бале при отъезде моём на войну 1826 года».

Отчего он так не любил императора Николая, объяснить не мог. Может быть, потому, что ему не нравилось с детства, когда кто-то, пользуясь своим положением, безнаказанно унижает другого. Иногда он относил это обострённое чувство справедливости на свой маленький рост: с детских лет приходилось доказывать всем вокруг, что он не хуже, а в чём-то и лучше высоких красавцев.

Теперь, правда, доказывать не было необходимости – ему сорок два года, он – генерал, у него – трое сыновей и беременная жена. И он уже понимал, что азартные игры со смертью остались в прошлом; всё-таки не мальчик и не тот азартный двадцативосьмилетний партизан Давыдов, который гонялся за французами по неприятельским тылам, прежде родным искоженным изъезженным местам – в окрестностях того же Бородино, где была их усадьба... И даже уже не тот вольнодумец, что лишь случайно не примкнул к вышедшим на Сенатскую площадь в 1825 году против узурпации власти одним человеком. Хотя его стихи были не менее крамольны, чем речи на собраниях тайных обществ, а список басни «Река и зеркало» разошёлся в большом количестве и дошёл до императора. Правда, в нём нет призывов к мятежу, но если вчитаться...

*За правду колкую, за истину святую,
За сих врагов царей, – деспот
Вельможу осудил: главу его седую
Велел снести на эшафот.
Но сей успел добиться
Пред грозного царя предстать -
Не с тем, чтоб плакать иль крушиться,
Но, если правды не боится,
То чтобы басню рассказать.*

*Царь жаждет слов его; философ не страшится
И твёрдым гласом говорит:
«Ребёнок некогда сердился,
Увидев в зеркале свой безобразный вид;
Ну, в зеркало стучать, и в сердце веселился,
Что может зеркало разбить.
Наутро же, гуляя в поле,
Свой гнусный вид в реке увидел он опять.
Как реку истребить? – Нельзя, и поневоле
Он должен был и стыд и срам питать.
Монарх, стыдись! Ужели это сходство
Прилично для тебя?..
Я – зеркало: разбей меня,
Река – твоё потомство:
Ты в ней найдёшь ещё себя».
Монарха речь сия так сильно убедила,
Что он велел ему и жизнь и волю дать...
Постойте, виноват! – велел в Сибирь сослать.
А то бы эта была на басню походила.*

Может, по этой причине и последовало повеление генералу от кавалерии Давыдову, находящемуся в отставке, отправиться на Кавказский военный театр, где наследник персидского престола Аббас-Мирза, подстрекаемый англичанами, внезапно перешёл пограничную линию, вторгся в Карабах во главе сотысячного войска и обложил крепость Шушу, в которой заперся немногочисленный русский отряд. А ещё часть своих сил он дивнул в сторону Тифлиса. Ермолов же персам смог противопоставить не более десяти тысяч.

Из чего исходил император, отправляя его, сорокашестилетнего ветерана, знатока партизанской войны на Кавказе, понять было трудно, если, конечно, не считать это ссылкой.

И вот в середине августа 1826 года Денис Васильевич отправился в дальнюю дорогу. По пути остановился в мирных, далёких от нынешней войны Ельце и Воронеже. Затем больше в военном, чем в гражданском, Ставрополе, и, предупреждённый о недружественных горцах, отсюда ехал уже с осторожностью и с казачьим конвоем.

Под Владикавказом нагнали караван, с которым возвращался в Тифлис, арестованный несколько месяцев назад за участие в декабрьском заговоре, но сумевший доказать свою непричастность, Грибоедов. Эта неожиданная встреча обрадовала обоих, и, так как от Владикавказа дорога была более безопасной – здесь немирных горцев было меньше – они отправились дальше вдвоём на двухместных дрожках... И добрались до Тифлиса без приключений. А там уже разъехались каждый по своему предписанию.

Давыдов получил под командование войска на Эриванской границе. И разбил неприятельский корпус под командованием Гассан-хана.

Это заняло немного времени, и, не видя своей необходимости в затыжном противостоянии, спустя пару месяцев он просился в отпуск, сославшись на нездоровье, мол, не подошёл «губительный грузинский климат». Просьба была удовлетворена – и вот теперь он подъезжает к Кисловодску.

Остановился Давыдов в только что выстроенном доме Рубцова.

Процедуры принимал не столько по нужде, сколько по принуждению эскулапов, всё больше добивался отставки в отправляемых депешах. Болезнь была лишь поводом: Кавказ отчего-то ему не приглянулся, а кавказцы, которых ему пришлось наблюдать, привели его к мысли, что это люди, «привыкшие в течение веков к разбою».

И отчего-то часто вспоминалось его собственное ироническое обращение к «Генералам...»

Нет, на убой идти он более не хотел...

...Зимний Кисловодск не впечатлил его; отдыхающих было мало, в основном лечившие раны военные. И разговоры были всё больше о сражениях. Да о воинственных горцах, которые никак не хотели перейти к мирной жизни. И погода не радовала его, привыкшего к русской зиме со снегами, бодрящим морозцем. Здесь же она скорее напоминала московскую позднюю осень. Что касается лечения, то ему, привыкшему жить по собственному распорядку и командовать другими, подчиняться врачам и лечебному распорядку совсем не нравилось. Да и скучно было. Единственное, что радовало – это общение с казачьими атаманами, которые с горцами умели и воевать, и договариваться, и хорошо знали их обычаи. Одним словом, удалой народ, казаки. Отчего не мог не вспомнить молодость и не сочинить тост на обеде с донцами:

*Брызги искрами из плена,
Радость, жизнь донских холмов!
Окропи, моя любовь,
Чёрный ус мой белой пеной!
Друг народа удалого,
Я стакан с широким дном
Осушу одним глотком
В славу воинства донского!
Здравствуйте, братцы атаманы-молодцы!*

Но желания возвращаться в эти места у него не было.

По привычке отражать в стихах всё, что с ним происходит, пусть не столь прямо и откровенно, как в дневниках, но всё же приоткрывая собственные переживания, он пишет автобиографическое стихотворение «Партизан», объединив себя молодого и нынешнего, восторгаясь и гордясь прошлым...

*Умолкнул бой. Ночная тень
Москвы окрестность покрывает
Вдали Кутузова курень
Один, как звёздочка, сверкает.
Громада войск во тьме кипит,
И над пылающей Москвою
Багрово зарево лежит Небозримой полосой.
И мчитя тайною тропой
Воспрянувший с долины битвы
Наездников весёлый рой
На отдалённые ловитвы.
Как стая алчущих волков,
Они долинами витают:
То внемлют шороху, то вновь
Безмолвно рыскать продолжают.*

...И всё же признаваясь в симпатиях к этому малознакомому ему Кавказу.

*Начальник, в бурке на плечах,
В косматой шапке кабардинской,
Горит в передовых рядах*

*Особой яростью воинской,
Сын белокаменной Москвы,
Но рано брошенный в тревоги, Он жаждет чести и молвы,
А там что будет – вольны боги!*

*Давно не знаем им покой,
Привет родни, взор девы нежный;
Его любовь – кровавый бой,
Родня – донцы, друг – конь надежный,
Он через стремнины, через холмы
Отважно всадника пронесит,
То чутко шевелит ушами,
То фыркает, то удил просит.*

И, наконец, окончательное прощание... С Кавказом и с воинской службой...

*Ещё их скок приметен был
На высях за преградной Нарой,
Златимых отблеском пожара,
Но скоро буйный рой за высь перекатил,
И скоро след его простыл...*

Невесть как далеко от него в эти дни находится Вальтер Скотт, с которым он переписывается. Шотландец увидел в нём героя своих сочинений, а ему всегда было интересно общаться с литераторами не менее, чем с военными, к которым он относит и себя. Он дружен с Пушкиным и его братом, с Баратынским, Вяземским, Языковым... И вот для Вальтера Скотта он охотно ищет экспонаты; тот коллекционирует оружие. И в этой поездке на Кавказ он добыл лук и колчан стрел. Правда, в письме поясняет, вдруг шотландец вообразит, что горцы всё ещё воюют этим оружием.

«Лук – это вид оружия, которое стало редкостью на Кавказе. Только некоторые приверженцы старины ещё пользуются им. Вот почему я посылаю вам такой истёртый. Среди этих племён цивилизация распространяется с трудом, но всё же распространяется, и новые поколения усваивают себе то, что находят полезного у более цивилизованных народов, поэтому ныне черкесы (кавказские горцы) воюют также, как и мы: с помощью хороших винтовок или пистолетов, а из своего прежнего оружия сохранили только короткую саблю, называемую шашкой, которой они не решаются придать в помощь копьё, – прекрасный остаток их первобытной храбрости, с негодованием отвергающей применение его в рукопашной схватке из-за его длины».

И делится своими впечатлениями о жителях этих южных беспокойных мест, сравнивая, для понятливости, с героями исторического романа Вальтера Скотта «Сент-Ронанские воды».

«Возвращаясь из Грузии, я провёл некоторое время на знаменитых минеральных водах Кавказа, находящихся в краю, населённом теми самыми воинственными племенами, чьё оружие я вам посылаю. Было бы занятно увидеть эти воды изображёнными в романе, подобно Сент-Ронанским: какие бы тут обнаружили контрасты! Главные черты всё же оказались бы те же, ибо там, как и на всех водах мира, встречаешь женские сплетни, мелкие обиды и зависть среди общества, есть свои леди Пенелопы и леди Бинкс. Был у нас и господин вроде Тачвуда, который во всё вмешивался, но без оригинальной весёлости посетителя Сент-Ронанских вод и без гроша в кармане. Большому празднеству семейства Мобрей у нас соответствовала поездка всего общества во время байрама (мусульманского праздника) в аул, т.е. черкесское селение,

находящееся в нескольких милях, где вместо театра и музыки мы развлекались только играми этого воинственного народа, у которых даже танец представлял стычку. Поэтому свобода прогулок в окрестностях была ограничена: всё там на военной ноге, все вооружены, включая пьющих воду, со времени всемирного потопа, как вам известно, самых безвредных и невинных из смертных».

Это письмо он отправил, уже получив отставку и вернувшись в Москву...

Тайный визит

– Юнкер Бестужев... Штабс-капитан Бестужев, вы опоздали... Но если вы поторопитесь... Он открыл глаза.

Окинул взглядом едва различимые в тумане безлесые склоны невысоких гор, мимо которых ехала телега. И снова закрыл их, сожалея, что так не вовремя прервался этот сон, и под монотонный мерный скрип колёс сумел всё же вернуться в зыбкий полусон...

...Кто это напротив в неверном пламени свечи... Не Кондратий ли?..

Да, конечно же он, Рылеев, товарищ и компаньон по задуманной ими «карманной книжки для любительниц и любителей русской словесности» – альманаху «Полярная звезда». Какой номер они сейчас обсуждают, первый или последний?.. Четвёртый получался лучше уже вышедших, но так и не дошёл до читателя. И три первых были тоже неплохи, они сразу определились кого опубликуют, написали письма Жуковскому, Гнедичу, Крылову, Дельвигу, Баратынскому, Батюшкову, Пушкину... всех не перечесать. И все охотно откликнулись, прислали свои сочинения. Пушкин – даже из Одессы.

Рылеев отбирал для публикации стихи, а он составлял и писал в каждый номер о русской словесности. Хвалил и ругал. Спорил с другими критиками. Например, о комедии Грибоедова он, прочтя, сразу, без сомнений написал: *«будущее оценит достойно сию комедию и поставит её в число первых творений народных.»*

Альманах зачитывают, передают из рук в руки, о прочитанном спорят. Первый номер напечатали в шестьсот экземпляров, а второй – в полторы тысячи, и он также быстро разошёлся, а выручка позволила рассчитаться с долгами...

Преподнесли этот номер и императрице, а из её рук получили с Рылеевым перстни и золотые табакерки.

И ему было лестно, что его статьи о русской словесности и не только о ней, вызвали споры. Он не согласился с утверждением, что нет гениев и мало по-настоящему литературных талантов, потому что нет «ободрения этим талантам», а новые сочинения всё больше критикуют все, кому не лень. Будто талант зависит от «ободрения»...

«Ободрение может оперить только обыкновенные дарования: огонь очага требует хворосту и мехов, чтобы разгореться, – но когда молния просила людской помощи, чтобы вспыхнуть и реять в небе! Гомер, нищенствуя, пел свои бессмертные песни; Шекспир под лубочным навесом возвеличил трагедию; Мольер из платы смешил толпу; Торквато из сумасшедшего дома шагнул в Капитолий; даже Вольтер лучшую свою поэму написал углём на стенах Бастилии. Гении всех веков и народов, я вызываю вас! Я вижу в бледности измождённых гонением или недостатком лиц ваших – рассвет бессмертия!..»

Уважение или, по крайней мере, внимание к уму, которое ставило у нас богатство и породу на одну с ним доску, наконец, к радости сих последних исчезло. Богатство и связи безраздельно захватили всё внимание толпы, – но тут в проигрыше, конечно, не таланты! Иногда корыстные ласки меценатов балуют перо автора; иногда не достаёт собственной решимости вырваться из бисерных сетей света, – но теперь свет с презрением отверг его дары или допускает в свой круг не иначе, как с условием носить на себе клеймо подобного, отпадного ему ничтожества; скрывать искру божества, как пятно, стыдиться доблести, как порока!!!»

Когда он писал эти строки, он имел в виду не только состояние русской словесности, но и той среды, которая не даёт талантам подняться над обыденностью, разорвать оковы лжи и лицемерия, поразить правдивым словом...

Вот и несомненно талантливый Пушкин не всё договаривает. А то ещё и обижается, ежели что без его согласия поставит... И Грибоедов в своей пьесе не сказал прямо, что хотел, а упрятал правду за намёки и саркастическое обыгрывание чужих строк...

Но он не сомневается, что его тёзки ещё проявят свой талант в полной мере...

С Пушкиным они единомышленники, хотя тот и не состоит в Северном братстве. Но сразу оценил их с Кондратием труд, всем знакомым расхвалил первый номер альманаха, советовал обязательно прочесть. Не обошёл и своим поэтическим талантом, после наводнения увещивал в стихах:

«На альманах «Полярная звезда»

*Напрасно ахнула Европа,
Не унывайте, не беда!
От петербургского потопа
Спаслась «Полярная звезда».
Бестужев, твой ковчег на бреге!
Парнаса блещут высоты:
И в благодетельном ковчеге
Спаслись и люди и скоты.*

Как же трепетно было брать в руки эти маленькие книжечки альманаха, он любил их перечитывать. Пока имел такую возможность...

– Теперь послушай, что получилось, – услышал он.

И невесть откуда незнакомо зазвучали строки, которые он помнил и которые теперь не узнавал.

*Вдоль Фонтанки-реки
Квартируют полки.
Квартируют полки
Всё гвардейские.
Их и учат, их и мучат,
Ни свет, ни заря,
Для потехи царя!
Разве нет у них рук,
Чтоб избавиться от мук?
Разве нет штыков
На князьков-сопляков?
Разве нет свинца
На тирана-подлеца?
Да Семёновский полк
Покажет им толк.
Кому вынется, тому сбудется;
А кому сбудется, не минуется.
Слава!*

– Что скажешь, Александр?

– Закончить надо бы яснее, солдатики могут не понять...

– Поймут, Саша, поймут. А если не поймут, мы с тобой разъясним...

И опять расплывается. На Рылеева вроде похож говоривший, а голос не его, не узнаёт он...

Кондратий вдруг стал уходить. Идёт, не оглядываясь, отдаляясь, уменьшаясь во всё густеющем тумане, а он пытается крикнуть, остановить, предупредить, что туда, куда он идёт, никак нельзя... Но отчего-то совсем нет голоса... И нет сил, чтобы бежать следом, догнать...

И уже не милый Рылеев уходит, а проявляется нечто размытое, чем-то похожее на фигуру императора на большом, во весь рост, портрете. И голос, который так часто он слышал потом, да и сейчас ещё порой слышит в снах, отчего обязательно просыпается с сердцебиением и отчаянием, этот голос чётко, с непоколебимостью взведённого дуэльного пистолета, бездушно чеканит: «...умышлял на цареубийство и истребление императорской фамилии, возбуждал к тому других, соглашался также и на лишение свободы императорской фамилии, участвовал в умысле бунта привлечением товарищей и сочинением возмутительных стихов и песен, лично действовал в мятеже и возбуждал к оному нижних чинов».

Он хотел в ответ возразить, напомнить, что он всегда был честен, он предупреждал, что нельзя отмахиваться от свободомыслия. После того как пал несокрушимый Наполеон, русский народ, может быть, впервые ощутил свою силу, захотел независимости. Вернувшиеся домой с победой сравнивали увиденное в Европе с тем, что осталось дома. Сравнивали и всё более понимали необходимость перемен. Он предупреждал об этом в своих статьях. И теперь хотел было напомнить это тому, кто на портрете, но в это время сильно трянуло, и нечто смутное, похожее на императора, пропало, и он стал осознавать себя лежащим на жёсткой и скрипящей телеге, куда-то перемещающимся... Но не торопился открывать глаза, вспоминая, кто он и где он...

Ах да, он едет из холодной Сибири, и позади уже много вёрст безлюдного пространства. И много дней пути. В начале календарного лета, так и не дождавшись северного тепла, он отбыл из Якутска. В первых числах июля в Иркутске наконец оттаял. А ещё спустя две недели был в Екатеринбурге. И вот, в начале августа, здесь, на Северном Кавказе, лето настоящее, тепло невиданное. Отсюда уже не так далеко до места его службы. Но теперь уже служить будет не штабс-капитаном, а простым солдатом.

... И рядовой Александр Александрович Бестужев, чудом избежавший смертной казни, познавший заточение в Шлиссельбургской крепости, проживший несколько лет в холодном Якутске и вот теперь очутившийся на Кавказе, наконец открыл глаза. И словно ждал, хотя и не видел этого, казак-возница; громко сказал:

– Вот и Эльбрус завиднелся.

Просто радуясь проявившимся из тумана и парящим над землёй, словно оторванным от неё белоснежным вершинам, то ли обращая на это внимание сонного барина, о котором только и знал, что тот едет из холодной Сибири, куда попал то ли по глупости, то ли по немилости, но говорят оттого, что и в самом деле невзлюбил царя...

Бестужев устроился поудобнее на телеге, так, чтобы видеть этого неземного двуглавого великана, парящего над облаками. Действительно, туман, в котором они долго ехали, теперь, на подъезде к Кисловодску, постепенно растекался по ущелью, опускаясь всё ниже и ниже, и уже видны были внушающие трепет зубцы горного хребта, – этой границы мира, – пугая своей неукротимой дикостью и неоспоримым величием.

Он подумал, что люди, которые каждый день видят эти вершины, должны быть совсем не похожи на петербуржцев, да и прочих равнинных россиян. И уж можно сказать они – антиподы жителей промёрзшего Якутска. Впрочем, о тех местах, прохладных даже летом, сейчас, на знойном юге, вспоминается даже с некоторой грустью.

Но это не убавляет радости от того, что на его просьбы наконец-то государь откликнулся и распорядился послать его в действующую армию воевать с турками на Кавказ. Он знал, что здесь много солдат и офицеров, кто вышел вместе с ним на площадь в декабре четыре года

назад, и надеялся встретить старых товарищей. А ещё обязательно отличиться по службе, вернуть себе офицерский чин и всё прочее, что когда-то имел. . . И ничего, что не штабс-капитаном и не в приличном экипаже, а рядовым он лежит на этой телеге, ровней с этим гордо восседающим впереди казаком-извозчиком. Ему ещё только тридцать два года, он ещё добудет наград, дослужится до генеральских эполет. . . Милостью Божьей он теперь не будет маяться в вечных снегах двадцать лет, отмеренных ему царской милостью взамен смертной казни. Хорошо, если бы и братьям так же повезло: Михаил и Николай всё ещё на Нерчинских рудниках, но тоже послали прошение с просьбой перевести на Кавказ. А третий брат, Пётр, также разжалованный после неудавшегося переворота, сразу попал в эти места и, прослужив рядовым и отличившись, дослужившись до унтер-офицера, не так давно вернулся домой. . .

Тучи над горной цепью, послушные налетевшему ветру, закружились, заторопились вдоль горных зубцов, закатное солнце окрасило вершины в розовый цвет, придавая им теперь не только грозный, но и манящий вид. Бестужев даже задохнулся от восторга, так на него действовало увиденное.

– Горы – вот что есть поэзия природы, – голосом, не допускающим никакого возражения, произнёс он.

– Чего? – переспросил казак.

– Я так, братец, про себя, – не стал разъяснять он, понимая, что пережитый им восторг – это его сокровенное, о чём он ещё успеет подумать. . . Но уже знал: здесь, у подножия величественных гор всё чувствуется чище и думается яснее. . .

*Там горести, там страсти яд немеет,
Там юностью невянущею веет,
Забвение целительной рукой
На сердце льёт усладу и покой;
Душа слита с возвышенной природой,
И дышит грудь бессмертною свободой!*

Но вот темнота стала накрывать вершины. Какое-то время ещё закатно рдел Эльбрус, паря над миром, но скоро и его снежные шапки поглотила ночь. В лёгших на ущелье сумерках начали падать невидимые, но ощутимо крупные капли дождя. Порывы ветра подымали пока ещё не прибитую пыль, и телега то нагоняла, то отставала от взвихренных её столбов.

– Далеко ли ещё? – спросил он.

– Полверсты будет, – ответил казак и поторопил лошадь. Бестужев закрыл глаза, погружившись в свои мысли. . .

Эти вечер, ночь и утро – вот и всё, что ему дано, чтобы удовлетворить любопытство, увидеть это местечко среди гор, о котором он немало наслышан. Место, где не только поправляют здоровье.

Вот Пушкин поехал сюда подающим надежду талантом и вернулся поэтом, привёз кавказскую поэму. И говорят, теперь снова где-то в этих местах, возможно, они встретятся совсем скоро. . . А ещё здесь должны быть единомышленники, сосланные сюда прежде. Может доведётся найти знакомого, хотя большинство из тех, кого он знал и кто остался в живых нынче в Сибири. . . Но немало и здесь воюет, правда, больше рядовые, подчинившиеся в декабре офицерам, невинные по сути, но император в испуге и их сослал. . .

Скоро он всё увидит и узнает. А потом ему ещё ехать за горный хребет, за которым другая совсем земля и где Особый корпус, куда он теперь направлен, воюет с турками. И там он, конечно же, встретит знакомых. . .

Он понимал, чем рискует, пускаясь в эту самовольную поездку, но уж так не терпелось увидеть лица товарищей, да и взглянуть на это место с чудодейственными водами. . .

Сверкнула молния, на миг вырвав из темноты сужающееся ущелье с голыми склонами над речкой, небольшую казачью станицу и ниже, под-над речкой, десятка два-три домиков, где, как он уже знал, жили отставники со своими семьями, которые охотно сдавали угол приезжим. Можно было бы, конечно, нанести визит предводителю дворянства Реброву, но неизвестно как тот отреагирует, а то ещё донесёт, глядишь, обратно в Сибирь отправят. Нет, лучше без огласки у кого-нибудь переночевать... Ему, главное, знакомых найти...

И вдруг Бестужев ясно понял, что обязательно опишет этот тайный визит, в котором если не в реальности, то в своих фантазиях сядет вместе с приятелями за стол, описав их, начиная с «*матушкина сынка*», «*приехавшего из белокаменной лечиться от застоя в карманах*» и прочих гвардейцев-романтиков так, что только знакомые смогут догадаться, о ком это он...

Он обязательно опишет их встречу, но не укажет, когда это было, рука тайной полиции длинна и милосердие императора не безгранично...

Нет, он укажет, это придаст большую достоверность. Но укажет так, что заставит гадать читателя, так ли и тогда ли всё было на самом деле...

К примеру, что всё описанное происходило в августе 1824 года и он всё ещё штабс-капитан, а до декабря 1825 года, до Рубикона, который тогда перешли они, ещё целая вечность радужных надежд и планов. И вот он, ещё молодой офицер, не знавший опыта каторжанина, ссыльного, приехал к товарищам, отужинал в приятной компании и остался с теми, кто не слушает предписаний эскулапа и предпочитает вино кавказской воде. И теперь вот предаётся приятной беседе...

И говорят они о всякой безобидной всячине.

О том, что нынче посетил это место персидский принц Хозрев-Мирза – набирался сил, пил напиток богатырей – нарзан.

Что на Эльбрусе побывала русская экспедиция, вернувшаяся с двумя сотнями саженцев сосны, выкопанных в верховьях реки Эшкакон. Их высадят на голых склонах.

И что не он один переведён из Сибири на Кавказ, а к тем, кто уже был сослан сюда прежде, скоро добавятся многие, – император, убедившись в том, что наказанные офицеры отменно воюют, намерен ссыльными из Сибири усилить Особый корпус...

А ещё о чём не могут не поговорить мужчины и что не является государственной тайной и не представляет опасности для власти?

Естественно, о женщинах...

Они в этот вечер обязательно обсудят красавиц, поспорят, какие лучше, московские или петербургские. Или всё же местные, южные...

– Черкешенки совсем иное дело – мы осуждены любоваться ими как недоступными вершинами Кавказа, – скажет уже поживший здесь, видевший лица горянок и знающий горские законы и месть горцев за поруганную честь их женщин.

После этого и обсуждать и сравнивать нечего.

...Так от более лёгких и обыденных тем перейдут к сложным.

О тех же масонах поговорят, об этом можно, это если и возбраняется, то не слишком громко.

Но это довольно скучно, и долго разговор не может держаться. Другое дело – погреть душу рассказами о кладях, которые многим из пока ещё не разжалованных (в его рассказе) офицерам пришлось бы кстати...

И пусть потом гадают, когда он был здесь: в год, вынесенный им в заглавие «Вечер на кавказских водах в 1824 году» или же теперь, спустя пять лет...

Долгое лето

То, что случилось, было полной неожиданностью.

Белинский гостил в Прямухино у Бакуниных и отчаянно страдал от неразделённой любви к сестре Михаила Александре Александровне, так что даже не сдержался, признался, но не ей, ей так и не осмелился, а на бумаге: *«Мне было хорошо, так хорошо, как и не мечталось до того времени... Я ощутил себя в новой сфере, увидел себя в новом мире: окрест меня всё дышало гармонией и блаженством, и эта гармония и блаженство частью проникли и в мою душу. Я увидел осуществление моих понятий о женщине... Когда все собирались в гостиной, толпились около рояля и пели хором, в этих хорах я думал слышать гимн восторга и блаженства усовершенствованного человечества, и душа моя замирала, можно сказать, в муках блаженства, потому что в моём блаженстве, от непривычки ли к нему, от недостатка ли гармонии в душе, было что-то тяжёлое, невыносимое, так что я боялся моими дикими движениями обратить на себя общее внимание».*

Так вот, пока он жил у Бакуниных, журнал «Телескоп», где он работал помощником Николая Ивановича Надеждина «высочайшим повелением» закрыли за публикацию «Философического письма» Чаадаева. И он остался без работы и без денег. Нащокин, по поручению Пушкина, предложил ему работать в «Современнике», который тот начал издавать. Но сотрудничеству, о котором мечтали и Пушкин и Белинский, не было суждено состояться: в январе 1837 года Пушкин был ранен на дуэли, а затем умер.

Это был ещё один тяжёлый удар для Виссариона. Он внимательно следил за творчеством поэта. Следил и восторгался. Ещё при жизни Пушкина в своей работе «Литературные мечтания» он писал: *«Как чародей, он в одно и то же время исторгал у нас и смех и слёзы, играл по воле нашими чувствами... Он пел, и как изумлена была Русь звуками его песен; и не диво: она ещё никогда не слыхала подобных; как жадно прислушивалась она к ним; и не диво: в них трепетали все нервы её жизни! Я помню это время, счастливое время, когда в глуши провинции, в глуши уездного городка, в летние дни, из растворённых окон носились по воздуху эти звуки, «подобные шуму волн» или «журчанию ручья»».*

А теперь в одночасье все надежды, так же, как и любовь, оказались неразделёнными и остались в прошлом. В будущем же он не видел ничего обнадеживающего.

Но надо было на что-то жить, и он написал научную грамматику, надеясь издать её за казённый счёт как школьное пособие. Но в поданном прошении ему было отказано.

Этого Белинский перенести уже не смог и тяжело заболел.

Друзья настаивали, чтобы он поехал на юг, на Кавказ, и дали ему взаймы денег: Боткин – пятьсот рублей. Ефремов – восемьсот, он вызвался ехать вместе с Белинским.

В мае 1837 года они приехали в Пятигорск.

В сравнении с севером уже настоящее летнее тепло взбодрило их. Первые дни они удивлялись всему, что видели: и этому городку на горном склоне, и бьющим из земли источникам, и праздной публике, среди которой преобладали дамы и офицеры.

Здесь Виссарион совсем не так как прежде перечитал «Кавказского пленника». И уже не сомневался, что Пушкин любил эти места и вдохновлялся ими:

*Великолепные картины,
Престолы вечные снегов.
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,*

*Эльбрус огромный, величавый
Белел на небе голубом.*

Точнее не скажешь...

...Врачи нашли его состояние истощённым и посоветовали не торопиться с приёмом ванн: их воздействие может ещё более ослабить организм, так что первые дни он лечился видами близких и далёких гор, наблюдениями за городской жизнью и поразительно лёгким, напоённым свежестью воздухом. А когда начал принимать ванны -почувствовал себя совсем здоровым. И поспешил написать друзьям в Москву: *«Сейчас пришёл с вод, устал, как собака; в Пятигорске довольно весело; природа прекрасна; зрелище гор – очаровательно, особенно в ясный день, когда видны снеговые горы и между ними двуглавый Эльбрус, который я каждое ясное утро вижу из окна моей комнатки. Бештау от Пятигорска в 8 верстах, но кажется, что до него нет и 20 сажень. Какая бездна ягод – клубники и земляники; носят вёдрами. Идёшь по горе и давишь ногами землянику, а есть нельзя – такая досада!»*

С Александром Ефремовым, который был не только его другом, но и другом Станкевича, Бакунина, Тургенева, им было о чём поговорить. Они вместе ходят на ванны и на прогулки. Но скоро уже обо всём, что интересовало, переговорили и впечатлениями по приезде обменялись. Ефремов – само добродушие; имеет деньги и охотно занимает их друзьям.

«Ефремов тебе кланяется и поручил мне известить тебя, что он настроил своей матушке очень трогательное послание, которое непременно должно возыметь своё действие... – Пишет Виссарион в конце июня Бакунину. – А если бы оное красноречивое послание, сверх всякого чаяния, не возымело своего действия и матушка вздумала бы употребить твои письма к Ефремову, как векселя, то ты объяви ей, что деньги тобою давно возвращены ему и что он потратил их на свои нужды. Ефремов решился подтвердить это и словесно и письменно, в случае нужды».

С Александром у них отношения старшего и младшего, хотя разница всего в три года. Но Белинский воспринимает Ефремова как подростка, которого должен опекать и, как старший, бывает и снисходителен, и ироничен. А порой и откровенно насмешлив. Особенно когда Александр восторгается письмами, которые он пишет друзьям, и их ответами. А повод для того, чтобы упомянуть о нём с насмешливостью, тот предоставляет нередко.

«Ефремов поправляется в здоровье видимо, но только жаль, что это за счёт ума: его узнать нельзя – дурак дураком». – Делится он в этом же письме нелюбезной оценкой друга. – *«Страсть к остроумию у него та же, но силы острить решительно нет. С господами офицерами он вошёл в самые тесные отношения, но и между ними считается последним остряком».*

И следом сообщает, что Ефремов настолько заинтриговал офицеров рассказами об остроумии Бакунина, что те решили сочинить своё шутовское и остроумное послание и отправить неведомому им, но столь восхваляемому остроумцу.

«Смотри же, Мишель, не ударься лицом в грязь и ответь им со свойственною тебе тонкостью и остроумием, так, чтобы каждая твоя острота была так же замысловата, как меток каждый твой шарик из хлеба, пускаемый тобою с необыкновенною ловкостью и приятностию...» – Вспомнил он забаву, которой они предавались в Прямухино. – *«Но пора перестать говорить глупости. Я видимо поправляюсь, хотя начал лечиться только с 20 числа настоящего месяца. В теле чувствую какую-то лёгкость, а в душе – ясность. Пью воды, беру ванны усердно и ревностно, хожу каждый день вёрст по десяти и взбираюсь ex-officio (по обязанности) на ужасные высоты. Смотрю на ясное небо, на фантастические облака, на дикую и величественную природу Кавказа и радуюсь, сам не зная чему. Даже у себя в комнате, чуть только луч солнца заиграет на стекле окна, улыбаюсь и радостно потираю руками. Встаю*

в 4 часа и скоро надеюсь привыкнуть вставать в 3 ровно, разумеется, не дожидаясь, чтоб будили».

Дмитрию Иванову, с которым дружен с детских лет и вместе учился сначала в пензенской гимназии, а затем в московском университете, отвечает на его вопрос о черкешенках, так ли те хороши.

«... Черкесов вижу много, но черкешенки – увьи! – ещё ни одной не видел... Вообще черкесы довольно благообразные, но главное их достоинство – стройность. Ох, черкешенки!.. Чтоб видеть их, надо ехать в аул, вёрст за 30, а это мне не очень нравится: погода кавказская в непостоянстве не уступает московской, прекрасное утро здесь не есть ручательство за прекрасный день -можно простудиться».

И описывает жизнь в этих местах.

«На Кавказе хорошо пожить с месяц здоровому, а лечится и в райо скучно. Жизнь постоянная в Пятигорске ужасна – нет людей. Зато хороша природа и всё дешёво: пара кур и пара куропаток стоят гривенник; десять перепёлок 30 к.; фунт славного белого хлеба 4 к.; арбузы и дыни нипочём, – и какие дыни...

...Дичи бездна, всё фазаны, кулики и перепелы. Последние ходят по улице и подпускают к себе человека на два шага...

...Снегу с Эльбруса привезти тебе не могу, потому что, хотя я и вижу его из моего окна, но до него 150 или 200 вёрст. Боже мой, что за громада! Машук, при подошве которого я живу и целебными струями которого пользуюсь, по крайней мере вдвое выше колокольни Ивана Великого; но в сравнении с Эльбрусом он – горка... »

Но всё же мир тесен и отсутствие людей, о чём он пишет, никак не подтверждается. Сколько знакомых он здесь встретил и с какими интересными людьми познакомился. Встречи, правда, не всегда радовали, а вот знакомства, как правило, одаривали щедро новыми знаниями и впечатлениями.

Тот же казак Василий Дмитриевич Сухоруков... Человек, который знает о казаках, кажется, всё. И свободолюбивый настолько, что карьерой, которая складывалась на зависть остальным очень удачно, поступился во имя вольнолюбия. Он дружил с декабристами, близок был к Рылееву, Бестужеву и хотя на площадь в декабре 1825 года не выходил, за эту порочащую связь заплатил будущими чинами и званиями и был сослан на Кавказ. Здесь, находясь под надзором, затеял издавать альманах «Русская старина»... Случались и неприятные известия и встречи.

Горько было узнать, что брат Пушкина Лев Сергеевич, который служил в этих местах, ничем особо не выделяется и похож на множество остальных офицеров, предаваясь пустому времяпрепровождению. Белинский сделал вывод, что тот «пустейший человек» и ему стало почему-то обидно за Александра Сергеевича, который, если бы был жив, несомненно подействовал бы на брата благотворно.

Нежданно-негаданно столкнулся здесь с генералом Скобелевым, о котором пару лет назад нелестно было написано в «Молве» – газете, которую, как и «Телескоп», издавал Надеждин, и Виссарион в то время имел к ней отношение.

Скобелев был известным и уважаемым человеком. Ему было уже под шестьдесят лет, его мундир украшало немало орденов. В четырнадцать лет он начал служить солдатом в Оренбургском полевом батальоне, затем в Уфимском мушкетёрском стал офицером. Воевал против Наполеона в Европе, за что получил золотую шпагу «За храбрость», а также первый орден. В Болгарии воевал против турок и снова был награждён орденом. В 1810 году капитаном ушёл в отставку по ранению, но спустя два года во время Отечественной войны был старшим адъютантом Кутузова. И опять же был награждён двумя орденами, в том числе и Георгия. Потом стал генерал-майором и генерал-лейтенантом, воевал в Польше, потерял руку и получил ещё одного Георгия...

А ещё Иван Никитич Скобелев писал рассказы под псевдонимом «Русский инвалид» и пьесы, которые не без успеха шли в театрах... Но писал он, с точки зрения Белинского, плохо, его произведения не стоили никакого внимания критика, хотя и пользовались интересом у читателей. Статья была, собственно, об этом. Но прежде они не были знакомы.

Генерал сам подошёл к нему и привычно громким голосом спросил:

– Вы господин Белинский?

– Я. С кем имею честь?

– Генерал-лейтенант Скобелев. Тот самый, о котором вы написали в вашей газете... Я давно желал с вами познакомиться. Читал ваши статьи, в них есть здравые мысли... Но за что же вы меня так разругали?

– Позвольте, но если речь идёт о той давней заметке, то в ней всё было вполне пристойно. К тому же не я её писал.

– Как же не вы?... Надеждин был у меня, просил извинения и сказал мне, что это написали вы. И хорошо, что он извинился передо мною, а то ему было бы худо: я хотел жаловаться императору... Если же писали не вы, это меняет дело. Хотя надо бы тогда, чтобы автор был обозначен, а так ведь я всё это время был уверен, что писали вы. Так кто же тогда написал?

– Он не просил меня держать его имя в тайне, поэтому назову: это писал Селивановский... Но я не отказываюсь от того, что от меня зависело, поставить её в газету или нет. И если я её поставил, хорошо это или дурно с вашей точки зрения, но я это сделал и тоже несу ответственность...

Генерал окинул Белинского изучающим взглядом, каким, наверное, оглядывал своих провинившихся офицеров, размышляя, какую меру наказания им назначить за проступок.

– Нехорошо, братец, быть таким заносчивым: Греч мне сказал о тебе, что ты голова редкая, ум светлый, перо отличное, но что дерзок и ругаешься на чём свет стоит... Вижу, так и есть. Но, братец, теперь уж я буду ругать Надеждина, вот ведь не сказал правды, а я тебя костерил напрасно... Ладно, не обижайся.

И действительно отпустил крепкое ругательство в адрес отсутствующего Надеждина.

Ругайте, подумал про себя Белинский, который теперь уже окончательно разочаровался в издателе, с которым давно уже расходился во взглядах на понимание порядочности и честности и вот теперь ещё раз убедился, какой это лживый человек.

Генерал первым протянул руку, и Белинский, помедлив, подал свою.

Рукопожатие генерала было крепким и явно примиряющим.

Так проходят похожие дни: ванны, прогулки, обмен колкостями с Ефремовым, написание писем друзьям и встречи с новыми знакомыми. Здесь уже есть свой круг любителей литературы из приезжих отдыхающих и местной интеллигенции. Все люди гостеприимные и общительные, и они с Ефремовым быстро сошлись с ними.

Часто Белинский бывает у Николая Михайловича Сатина. И в очередное посещение хозяин познакомил Белинского с Лермонтовым, о котором тот слышал, но не знаком лично. Обменявшись комплиментами по поводу того, что каждый читал – Лермонтов отметил его статьи, а Белинский – стихотворение «На смерть поэта», из-за которого тот и был сюда сослан – вспомнили о родных местах, оба ведь земляки и даже очень близкие – оба из Чембара. Перебрали знакомых, поделившись последними новостями, что знали о них.

Сатин наблюдал за ними со стороны и поражался, насколько земляки непохожи. Разница между ними всего три года, но Белинский выглядит намного старше: серьёзный, сосредоточенный, явно думающий над каждой фразой и склонный к неторопливому философствованию. Лермонтов же порывист, быстр в движениях и словах, вставляет порой едкие замечания и нелестно характеризует знакомых.

Поговорили о Пушкине: горечь потери их объединила. Белинский посетовал на то, что «Современник» после смерти Пушкина так никто и не решился издавать, Лермонтов желчно заметил, что многие завистники смерти Александра Сергеевича порадовались.

Потом возникла пауза; о пустячках вроде поговорили, о чём ещё говорить – не знали.

На столе Сатина лежал том записок Дидро. Белинский взял его, перелистал...

– Вот немцы, у них вся философия в Гегеле, попробуй её объяснить простому человеку... А французы совсем иная нация... Они способствовали не только появлению Наполеона, но и энциклопедистов, посредством которых дали нам множество новых знаний и новый взгляд на привычное...

– Чего ж такого в них... Слов много порой, а смысла мало...

– Не скажите. У них широк взгляд на всё, они не боятся иметь своё мнение, отличное от мнения других европейцев...

– Отличаться можно и неприличным, – усмехнулся Лермонтов явно демонстрируя своё неуважение к тому, перед чем преклонялся Белинский.

– По -видимому, вы не читали Вольтера, – обиженно произнёс Виссарион, который как раз в это время читал этого французского энциклопедиста и находил в его трудах много созвучных мыслей.

– Ну как же, ежели сама Екатерина без ума была от этого француза и даже называла себя вольтерьянкой и признавалась в том, что её разум и убеждение сформировали именно его труды... А за его рукописи заплатила такую сумму, что хватило бы на приличное содержание всей русской литературы... Вот уж этот трепет перед иноземным, будто у нас нет чему поучиться. Так что довелось читать, чтобы не сочли необразованным или не любящим императрицу, – иронично произнёс Лермонтов.

– Люди находят в его трудах много полезного для себя, – неохотно сказал Белинский, не желая продолжать спор.

– Неужели и вы тоже что-то нашли так далеко от наших родных пензенских мест? – Усмехнулся Лермонтов. – Я думал, вы уже достаточно знаете, чтобы не соблазняться всякой ерундой... Вот уж где нет ничего нового, а только и есть, что любованье собой... А знаете ли вы, что я скажу вам о вашем Вольтере: если бы он явился к нам теперь в Чембар, то его ни в одном порядочном доме не взяли бы в гувернёры, – закончил он.

Белинский собрался было что-то сказать, но лишь какое-то время молча смотрел на Лермонтова, затем взял фуражку и, едва кивнув головой на прощанье, вышел. Уже выходя, услышал смех Лермонтова и говорившего ему что-то Сатина.

Виссарион с трудом сдерживал негодование от выходки этого очевидно зазнавшегося Лермонтова. Для него – и не только для него – Вольтер был воплощением реализации мечты. Ведь не зря этого французского просветителя звали и «вождём века», и «критиком феодальной Европы». Его прозаические произведения были знакомы большинству образованных людей Европы. А какой он стилист! Лермонтову надо бы у него поучиться, а не считать себя уже достигшим всего. И поэтические произведения Вольтера глубоко национальны, он, несомненно, выразитель эпохи и своей нации...

«Боже, какой пошляк этот поручик, – думал он. – И этот человек написал такое прекрасное стихотворение... Но, с другой стороны оттого, что напишешь несколько удачных стихотворений поэтом не сделаешься и пошляком быть не перестанешь...» И решил, что обязательно скажет об этом Сатину, ибо пошлость заразительна, и он не должен больше пускаться к себе в дом Лермонтова, дабы от него не заразились другие...

Наступил август.

Они с Ефремовым уже привыкли к теплу, к югу, даже к ваннам, которые вначале так бодрили, а теперь эти ежедневные лежания порядком надоели. Но вместе с тем появилось ощущение приобретения чего-то нового, прежде неведомого. Он даже поделился с Бакуниным:

«...Несмотря на скуку однообразной жизни, я никогда не замечал в себе такой сильной восприимчивости впечатлений изящного, как во время моей дороги на Кавказ и пребывания в нём. Всё, что ни читал я, – отозвалось во мне. Пушкин предстал мне в новом свете, как будто я его прочёл в первый раз. Никогда я так много не думал о себе в отношении к моей высшей цели, как опять на этом же Кавказе... Словом, я бы выздоровел и душевно и телесно, если бы будущее не стояло передо мною в грозном виде, если бы приезд в Москву был обеспечен».

Дорога домой всегда короче, чем из дома. Они ехали сюда, в неведомые прежде края, больше думая о будущем без всякой привязки к прошлому, к оставленным делам и заботам. Каждый из них был открытым сосудом для новых впечатлений, а всё, что отдалялось в пространстве и во времени, словно забывалось. И груз прежних забот уже не казался ни значимым, ни тяжким, а очень даже несущественным, а все нерешённые вопросы – легко разрешимыми.

И вот заканчивалось это славное время. И мысли всё чаще стали приходить тревожные – Виссарион Григорьевич возвращался в полную неопределённость, не зная, где и чем будет зарабатывать. Единственное, что твёрдо знал – это о чём он будет писать, что его волнует. Он переделал здесь пару статей, написанных в Прямухино, набросал план новых.

В середине августа, предвеляя приезд, написал Бакунину: *«Ефремов тебе кланяется. Мы оба с ним не вылечились, но поправились. Хорошо и это, за неимением лучшего. Он непременно опять приедет на Кавказ на будущую весну. Мне надобно бы сделать то же; но прежде вопроса о здоровье мне ещё должно решить вопрос о жизни. На Кавказе я ничего не сделал, потому что ничего нельзя было сделать. Перевёл было страничек 20 с немецкого, но более не мог. Зато кое-что обдумал и не худое, лишь бы вопрос быть или не быть решился в мою пользу. Много думал об искусстве и наконец вполне постиг его значение, вопрос о котором давно мучил меня. Лишь бы благодать божия снова проникла в мою завялую и засохшую душу, а то я составил план хорошего сочинения, где в форме писем или переписки друзей хочу изложить все истины, как постиг я их, о цели человеческого бытия или счастья. Я дам этим истинам практический характер, доступный всякому, у кого есть в груди простое и живое чувство бытия...»*

Послезавтра (19 августа) я буду в Железноводске, верстах в 15 от Пятигорска, там возьму я 20 железных ванн; эти ванны будут последними. 1 или 2 сентября мы выезжаем в Москву...»

...Он долго провожал взглядом отдаляющиеся, теперь такие знакомые вершины, вспоминая, как весной, при своём приближении, они несли неведомые надежды – и вот эти надежды обрели воплощение в прожитых здесь днях, встречах, переживаниях, мыслях... И подумал, что по возвращении всё должно быть хорошо и всё сложится, как он задумал.

Предчувствие

В начале октября 1837 года в Ставрополе ждали приезда императора Николая I, который возвращался из Тифлиса в Петербург. Так уж совпало, что в эти дни здесь же ожидали дальнейшего назначения ссыльные декабристы, которые получили милостивое позволение после Сибири служить на Кавказе.

Начальник Кавказской линии и Черномории Вельяминов, естественно, сопровождал императора. В тот день, когда прибыли ссыльные декабристы Николай Михайлович Сатин, тоже ссыльный, но по другой провинности и переведённый только что из Симбирска, завтракал у генерала Засса. Они уже перешли к вину, когда адъютант генерала доложил о прибытии разжалованных в солдаты.

– Это декабристы, – пояснил Сатину генерал и велел адъютанту, – проси их сюда.

Декабристов было шестеро. Одетые по-походному и усталые после дороги, они довольно спокойно приняли приглашение генерала присаживаться к столу и угоститься вином. Представились: Михаил Нарышкин, Владимир Лихарев, Михаил Назимов, Николай Лорер, барон Розен, князь Александр Одоевский. И всё же было видно, что такой приём их весьма удивил и обрадовал, обещая более лёгкие условия жизни не только по причине мягкого климата, но и иного, чем в Сибири, отношения властей. Впрочем, всем им теперь предстояло не только отбывать наказание, но и воевать, а это значит – подвергать свою жизнь опасности большей, чем морозы.

Скоро общение стало довольно непринуждённым, генерал не отделял себя от своих гостей, охотно отвечал на вопросы и с интересом расспрашивал о жизни в Сибири. Политики, естественно, не касались, хотя о приезде императора говорили, отметив, что тому тоже пришлось преодолеть немалое расстояние, чтобы посмотреть южные границы империи.

О каждом из вновь прибывших генерал знал по делам, с которыми уже ознакомился, и теперь сопоставлял эти знания со своими впечатлениями. Наиболее интересным ему показался Одоевский: было похоже, что тот нисколько не огорчён своим нынешним положением государственного преступника, не обижен на столь несправедливый зигзаг судьбы, хотя расположения к императору, несмотря на его милость, не питал. К тому же, он писал стихи. Один из них, сочинённый в далёкой Чите в ответ на известное стихотворение Пушкина «Во глубине сибирских руд», тоже был в деле. Генерал его помнил.

*Струн вещей пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
И – лишь оковы обрели.
Но будь покоен, бард! – цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеёмся над царями.
Наш скорбный труд не пропадёт,
Из искры возгорится пламя,
И просвещённый наш народ
Сберётся под святое знамя.
Мечи скуюм мы из цепей
И пламя вновь зажжём свободы!
Она нагрянет на царей,
И радостно вздохнут народы!*

Стихотворение явно носило крамольный характер, но со дня его написания прошло почти десять лет, а они должны были сказаться. Генерал исподволь наблюдал за Одоевским, уладили ли того годы. Спросил:

– А вы, князь, стихи продолжаете писать? Одоевский помедлил. Потом кивнул.

– У нас места поэтические, а события исторические, – продолжил Засс. – Не сомневаюсь, к вам обязательно придёт вдохновение.

– Да уже пришло, – вставил Нарышкин.

– Вот как? Уже что-то сочинили? – Оживился генерал. Одоевский неохотно кивнул. А Нарышкин, который от вина и радушного приёма поверил в лучшие перемены на новом месте, сообщил:

– Муза с Александром в одной повозке ехала, вот засмотрелся он на журавлей и продиктовал, а я записал...

– Уже здесь? – спросил Сатин.

– На подъезде к городу.

– Так прочтите же, – попросил генерал Одоевского. И торопливо добавил. – Оно ведь не касается политики.

– Птицы свободны, и их не беспокоит то, что беспокоит нас, – уклончиво отозвался Одоевский и негромко, глядя на товарищей, стал декламировать.

*Куда несётесь вы, крылатые станицы?
В страну ль, где на горах шумит лавровый лес,
Где реют радостно могучие орлицы
И тонут в синеве пылающих небес?
И мы – на Юг! Туда, где яхонт неба рдеет
И где гнездо из роз себе природа вьёт,
И нас, и нас далёкий путь влечёт...
Но солнце там души не отогреет
И свежий мирт* чела не обовьёт.
Пора отдать себя и смерти и забвенью!
Но тем ли, после бурь, нам будет смерть красна,
Что нас не Севера угрюмая сосна,
А южный кипарис своей покроет тенью?
И что не мёрзлый ров, не снеговой увал
Нас мирно одарят последним новосельем;
Но кровью жаркою обрызганный чакал*
Гостей бездомный прах разбросит по ущельям.*

На какое то время за столом установилась тишина. Наконец Засс прервал её:

– Я думаю, у вас это настроение скоро пройдёт. Мы научились воевать и напрасно своей жизнью наши солдаты не рискуют. Теперь император будет иметь представление о нашем здесь положении и об опасностях, так что и чины ваши скоро вернутся к вам, и свобода...

Ссылные в ответ промолчали и, спустя некоторое время, сославшись на необходимость хорошего отдыха после дальней дороги, откланялись...

...Разъезжались в разные места службы в разное время. Одоевский задержался: как всегда где-то какие-то бумажки не вовремя дошли, а назначение он получил неблизкое, в Тифлис. Жил он в гостинице Найтаки, в центре города. Сатин часто к нему навещался, а потом познакомил с Лермонтовым, с которым они учились и который тоже отправлялся в Тифлис. Тот

остановился у своего родственника, начальника штаба войска Кавказской линии Петрова, но всё свободное время проводил со знакомыми. И, несмотря на разницу в возрасте, между ними установился тот самый контакт, который возникает при взаимной симпатии, ощущении взаимного интереса и нужности друг другу. Они легко находили общие, интересные обоим темы для разговора, иногда соревнуясь, кто точнее опишет того или иного знакомого. У обоих был острый ум, завидное понимание людей, и поразительным образом совпадали оценки. Одним словом, скоро Сатин уже чувствовал себя лишним в их общении. Но ему было интересно наблюдать за ними. В разговорах Лермонтов был более желчен и порой безжалостен в характеристиках, Одоевский, может быть, в силу возраста и опыта жизненных перипетий был более мягок. Говорил он просто и всегда предельно искренне. А если не хотел обидеть, но имел плохое мнение о каком-нибудь человеке, ничего не говорил.

Более всего они любили беседовать о состоянии русской литературы, которую Одоевский знал хорошо, в Сибири он даже читал лекции своим товарищам по её истории, и Лермонтов с очевидным интересом, почти не споря, его слушал. Говорили они и о правилах стихосложения, часто вспоминая Пушкинский лёгкий слог и его поразительную точность. Но Лермонтов считал, что тот во многих стихах поверхностен и совсем не затрагивает души. Довольно часто речь заходила о мистике, сопутствующей религии, обоим это было интересно, хотя Одоевский очевидно был более набожен, чем Лермонтов и Сатин. И в таких разговорах они оба чувствовали себя учениками. Одоевский, казалось, знал досконально историю религии и, не во всём разделяя её ритуалы, искренне верил в волю Всевышнего.

Иногда они читали друг другу стихи. Одоевский свои никуда не записывал, хранил в памяти и читал не очень охотно. Но читал хорошо, очаровывая слушателей, словно владел магией слова.

Лермонтов старался устроить, чтобы они вместе отправились в Тифлис...

Так в разговорах и ожидании предписаний и прожили ещё несколько дней в Ставрополе. Как раз до приезда императора.

В тот день, 17 октября, горожане с нетерпением ждали на улицах приезд царствующей особы. Но императора всё не было, и только уже в сумерках по улице под возгласы: «Царь! Царь!» в окружении горящих факелов проехало несколько тёмных экипажей.

И, стоя на балконе гостиницы, Одоевский вдруг произнёс, ни к кому конкретно не обращаясь: «Похоже на похороны. Ах если бы мы подросли...» – вложив в эту фразу одному ему ведомый смысл. Затем залпом выпил бокал вина и добавил – *Ave, Caesar, morituri te salutant.*¹

Сатин, стоявший рядом с ним, негромко заметил:

– Это не тот цезарь, за которого стоит идти на смерть.

– Но он нас посылает, – также негромко отозвался Одоевский. И Сатин подумал, что в стихотворении о журавлях слишком много печальных предсказаний...

Теперь жизнь Одоевского была связана с кавказскими горами по обе стороны могучего хребта, с военными стычками, бивуаками и прочей солдатской жизнью. Теперь он знал, где покоится его двоюродный брат Грибоедов, который в те давние годы, разделяя чаяния декабристов, тем не менее не верил в успех их заговора. Александр помнил, как когда-то тот выразил сомнение, что «сто прапорщиков переменят государственный быт России». Он тогда сказал Грибоедову о Христе, который был один...

Как же давно это было... Убит и навсегда остался в этой земле Грибоедов. Не стало на этом свете чарующего своими стихами Пушкина, с которым он, после написания ответа на его стихотворение, чувствовал незримую связь. И вот он убит завистником, столь же ничемным человеком, как и император... И как верно всё то, что он и многие его товарищи думали,

¹ Слався Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя.

высказал в своём стихотворении на «Смерть поэта» юный Миша Лермонтов. И как он благодарен, что Господь свёл их, предоставил возможность насладиться чудесным общением...

Его брата Александра нет на этом свете уже много лет. И им пережито такое, что в пору их юности немыслимо было представить... Он очень хотел и ему удалось побывать в имении Чавчавад-зе, увидеть вдову брата Нину Грибоедову. Они много и светло говорили об Александре... Он поднялся на гору Мтацминда, постоял у каменной плиты, под которой покоился прах брата...

Служил он в драгунском полку полковника Безобразова, где было немало разжалованных в солдаты. Но общались они в основном с офицерами. Это отношение к государственным преступникам шло от полковника, который в своё время сам попал в немилость императора. Красавец мужчина, пользующийся успехом у женщин, он дослужился до должности флигель-адъютанта его императорского величества, влюбился во фрейлину императрицы, княжну Хилкову, а найдя свою молодую жену вскоре после свадьбы у посаженного отца Николая Павловича в государственной опочивальне, отпустил императору оплеуху...

Таким образом они одинаково относились к императору: И полковник и ссыльный князь были едины в своей нелюбви к Николаю...

Пути его с товарищами старыми и вновь обретенными разошлись. С кем надолго, а с кем и навсегда. Но были и радующие встречи. В июне 1838 года после окончания военной экспедиции он получает отпуск и отправляется на лечение в Пятигорск. Здесь он встретил старых знакомых Сатина и Лермонтова, общение с которыми особенно было приятным. Завёл и новых друзей. Одним из них стал доктор Майер.

Они с Одоевским представляли контрастную пару: Александр даже в солдатской амуниции имел вид довольного жизнью, спокойного и уравновешенного человека. А его дружелюбное расположение ко всем, острый ум, искренняя весёлость, блеск глаз в разговоре и звонкий смех в ответ на шутки друзей располагали к нему сразу же любого собеседника, даже самого ярого оппонента.

В отличие от него доктор Майер был откровенно некрасив: широкая голова, глубоко посаженные маленькие глазки, толстые губы. А к ним вдобавок одна нога короче другой, отчего он носил специально подбитую обувь, но всё равно хромал. Но вся эта некрасивость исчезала, как только он начинал говорить, и видно было, что оба, и

Одоевский, и доктор, просто наслаждаются беседой. И оба были заняты глубокими раздумьями о христианстве и о смысле жизни.

Девятнадцатилетний Александр пошёл в декабре на площадь с другими товарищами, отчётливо понимая, чем это ему грозит в случае неудачи, а потом сам пришёл в тайную канцелярию, сам заявил о своём участии в заговоре, был заключён в Петропавловскую крепость, а затем сослан на каторгу в Читинский острог: так много всего случилось в его жизни, что он теперь иначе воспринимал свершённое им в прошлом. Но остался верен и своим идеям и товарищам, с которыми так много довелось испытать.

В том числе сохранил самые тёплые чувства к отцу. Хотя перед ним он и теперь чувствовал какую-то вину. Привыкший к одиночеству, порой он остро ощущал тоску по родному дому, по ушедшим безвозвратно юным годам, когда, устремлённый в будущее, он не умел наслаждаться каждым мгновением, проведённым с семьёй. И более всего сейчас сожалел, что так мало времени проводил в детстве с матерью: Прасковья Александровна умерла, когда ему было восемнадцать лет. Отец же его любил безмерно. Не винил в произошедшем, поддерживая в ссылке и морально, и материально. И хотя был он уже преклонных лет, чтобы повидаться выехал навстречу ему в Казань, где они смогли провести вместе несколько незабываемых дней...

Теперь, спустя годы и события здесь, на Кавказе, вдруг родились строки:

*Я разлучился с колыбели
С отцом и матерью моей,
И люди грустно песнь запели
О бесприютности моей.*

*Но жалость их – огонь бесплодный,
Жжёт укоризненной слезой;
Лишь дева, ангел земнородный,
Простёрла крылья надо мной.*

*Мне, сирому, ты заменила
Отца и мать, вдали от них,
И вполонину облегчила
Печаль родителей моих.*

*С отцом и матерью родною
Теперь увиделся я вновь,
Чтоб ввек меж ними и тобою
Делить сыновнюю любовь.*

Эти стихи неожиданно стали песней, популярной среди военных.

Появились у него и новые друзья из офицеров и солдат, с которыми он теперь делил военные тяготы в тёплых южных краях. К службе он относился спокойно, как ко всему, что выпало ему и в прошлом, и в настоящем. И с таким же ровным спокойствием относился к грядущему, которое никто, кроме Господа, не мог знать. И он принимал свою судьбу без ропота и обиды.

Ведь всё, что было и будет, ему даровано в этой жизни неслучайно. Он в этом теперь не сомневался.

Вечер в Железноводске

Они всё больше расходились во взглядах на жизнь и желаниях. Марию влекли удовольствия, которые так притягательны в молодости: шумное общество, беззаботное веселье, внимание окружающих, его же – встречи с друзьями, умные беседы, чтение. И хотя он был старше всего на четыре года и не так уж давно, встретив её, потерял голову и совершенно искренне написал давнему другу Герцену, что любовь к Марии спасла его от пустоты провинциальной жизни и «отчаяние сменилось верою», а виною этому именно любовь, теперь ему казалось, что их разделяет гораздо больший срок. Она ещё порхает, словно летняя бабочка, он же, как мудрый скарабей, собирает всё увеличивающийся груз знаний... Обожаемая Машенька, умная, весёлая, единственная на всю Пензу (да что там Пензу – на весь мир!), вошла в его жизнь в самую печальную пору. Свет тогда вдруг озарил его мрачное бытие: отцовский надзор, под который его отправили по решению суда за чтение неугодных царю и охранке сочинений и писем, был сродни заключению: родовитый дворянин Платон Богданович Огарёв, своенравный, не признающий никаких новых веяний, никакого вольнодумства, к тому же из-за болезни бранчивый и нетерпимый к возражениям, видел в сыне продолжателя рода, управляющего огромной семейной вотчиной, а не потакающего хулителям и ниспровергателям ладно устроенного порядка.

Тогда явление Машеньки, Марии Львовны Рославлевой и его страсть к ней способствовали обретению душевного равновесия, из которого его вывели и преследования охранки, и суд, и заточение, и вынужденная разлука с товарищами, да и образ провинциальной жизни, когда на смену жарким спорам о справедливом устройстве государства, заряжающим возбуждающей энергией действия, возвышающим над прочей публикой, наполняющим жизненные устремления смыслом, вдруг пришли сонные, одинокие будни, заполненные глупой и пустой суетой, разговорами о пустяках, касающихся обедов, визитов, наказания провинившихся крепостных и городских сплетен...

После свадьбы, помня свою клятву на Воробьёвых горах и наставления Герцена о коварстве женских чар, наполненный счастьем первых дней семейной жизни, искренне уверенный, что это будет продолжаться и дальше, он не сдерживается, спорит с лучшим другом: «...*другой жены я не мог бы выбрать и с другой не мог быть счастлив...*»

Сейчас, на отдалении во времени и под новым для него южным небом, он нет-нет да и вспоминал эти строки из своего письма и ловил себя на сожалении, что поспешил тогда с выводами, но винил в отдалении их друг от друга не жену, а себя. И даже здесь, на Кавказе, старался не огорчать её своим отказом провести время так, как ей хочется, сопровождая в визитах и бесцельном времяпрепровождении.

Иногда он заводил с ней разговор на темы, волнующие его, но Мария слушала невнимательно и могла вдруг перебить, задав какой-то совсем не относящийся к разговору вопрос, он тогда с трудом сдерживал раздражение и старался не показать свою обиду. И давал себе слово более не угождать жене, а жить собственной жизнью.

В этой собственной жизни на первом месте были друзья. И этот 1838 год подарил ему немало встреч с ними и незабываемое путешествие. Задыхаясь от душливой атмосферы каждодневного вынужденного общения со становящимся всё более деспотичным Платоном Богдановичем, они с Марией, наконец, нашли предлог для бегства и в начале мая отправились на Воды не столько поправить здоровье, сколько встряхнуться от наскучившей обыденности.

Путешествие это они замыслили неторопливым, решив посмотреть южные просторы и поставив родных в известность, что пробудут на Кавказе до осени. И поэтому по настоянию Николая заехали в Саратов, хотя это было не по пути, к Лахтину, товарищу по делу о вольнодумстве, который также был сослан в провинцию. Огарёв ожидал от этой встречи чего угодно,

но только не того уныния и тоски, что так поразили его в Лахтине. Встреча получилась не такой, как ему представлялось. Лахтин не скрывал своего равнодушия и к его приезду, и к Марии, которую он отправил за ним, оставшись ждать в гостинице, опасаясь навредить товарищу, находящемуся под надзором. Когда тот вошёл в номер, первое, что бросилось в глаза, за эти три года, что не виделись: Лахтин сильно похудел. Но оба бросились друг к другу, подавшись порыву. Вот только взгляд того уже не горел, не выражал радости, в нём Огарёв увидел поразившее его уныние. У него сложилось впечатление, что тот чем-то неизлечимо болен. Во всяком случае именно такой потухший взгляд и отсутствие желаний, по его представлениям, должно было предшествовать уходу в иной мир. И хотя он планировал задержаться в Саратове, сверить свои мысли, накопившиеся за годы пензенского одиночества, после этой встречи поторопился поехать дальше.

Зеленеющая майская буйная степь по берегам Дона, дыхание южных ветров и бескрайние просторы, заканчивающиеся пронзительной синевой неба на всё отдаляющемся горизонте, помогли избавиться от тягостных воспоминаний этой встречи. Но главное, что запомнилось из многодневной поездки вдоль разлившейся реки, – казаки. В них он увидел людей свободных, самостоятельных, совсем не похожих на запуганных крестьян, принадлежащих им, да и на пензенских мещан, которых тоже к свободолюбивым отнести было трудно.

Контрастом этим бодрящим и вселяющим веру в то, что раболепие всё же присуще не всем, впечатлениям была встреча на выезде из Саратовской губернии, о которой он потом нередко вспоминал и которую пересказывал друзьям. Остановившись в одной из деревень, он попросил чаю и стал ждать, пока подадут, на крыльце станционного дома. Вдруг появился квартальный в новом мундире, изрядно заставивший его поволноваться: уж не аукнулась ли встреча с Лахтиным? Но тот подобострастно поинтересовался:

– Не здесь ли остановился сенатор Огарёв?

– Сенатор?.. Сенатора здесь нет, – догадался наконец Огарёв, что речь идет о его дяде, который не так давно ревизовал Саратовскую губернию. – Я – его родственник, но не только не сенатор, но даже ещё и не коллежский регистратор...

И предложил блюстителю порядка чаю.

Но квартальный явно оконфузился. Поспешно выпив горячий чай, раскланялся и торопливо ушёл.

Провожая его взглядом, Огарёв с горечью подумал, что в русском управлении, за исключением безумца, мечтающего иметь благотворное влияние по службе, служит разве только подлец...

Но по мере продвижения по казацким землям этот случай всё более превращался в анекдот, достойный разве что застольной беседы, но никак не рассуждений, и скоро он полностью отдался новым оптимистичным впечатлениям.

Это пьянящее настроение прежде невиданных мест, простора, весеннего обновления и вольной, неподвластной никому, кроме Бога, жизни (что за песню пела казачка, переплывая через реку одна в маленьком челноке, на закате солнца!), не оставляло его до самого Пятигорска. Оно сохранялось и первые дни, усиленное такими близкими большими, с возвышающейся над ними белой папайой Эльбруса, и малыми, среди которых выделялись Бешту и Машук, горами, а главное – дарил незабываемые встречи с теми, кто попал сюда не по своей воле, с «первенцами свободы», как он их называл и с кого они в своём университетском кружке брали пример.

Встреча с Николаем Сатиным, ещё одним товарищем по судебному приговору, которой после Саратова он опасался, его не огорчила. Тот совсем не изменился, был так же горяч в мыслях и азартен в спорах, не отказавшись от юношеских убеждений. И хотя на момент приезда был довольно серьёзно болен (мучил ревматизм), из-за него, собственно, он стал уже здесь

старожилом, не утратил силу духа и искреннюю любовь к товарищу. Своей радости от встречи он не смог, да и не хотел скрывать.

Они вечер провели в воспоминаниях. Много говорили о Герцене, который должен был нынче отбывать ссылку в Вятке, веря, что тот ещё прославит университет (они с Сатиным были лучшими в выпуске, серебряными медалистами), не преминули коснуться и не очень приятных дней, когда томились в застенках.

И Огарёв опять выказал свой восторг давнему поступку товарища. Когда остальных кружковцев арестовали, Сатин находился у родителей в Тамбовской губернии. Узнав об этом, он сам поехал в Москву.

А находясь в тюрьме, написал «Послание к сестре», строки из которого стали их общим гимном:

*Из тесной кельи заключенья
Зачем ты требуешь стихов,
Там тухнут искры вдохновенья,
Где нет поэзии цветов!*

Он был худ, немного прихрамывал, имел грустное красивое лицо, чем походил на Байрона, и чувствительную душу. А ещё был честен и тяготился тем, что вышел из дворян-землевладельцев. В университете все устремление и прилежание направил на поэтические опыты, уклоняясь от всяческой суеты. Но, тем не менее, загорелся идеями свободного общества, восторгаясь декабристами, и принимал самое активное участие в кружке. Друзья называли его «Рыцарем из Тамбова».

В Пятигорске он лечился уже длительное время, и его дом был открыт для друзей. Сюда почти ежедневно заходил, когда приезжал, Лермонтов – поболтать, отдохнуть душой. Здесь год назад он разошёлся с Белинским, приехавшим лечиться. Сюда постоянно заглядывали декабристы и прочие ссыльные.

В доме Сатина Огарёв и познакомился с князем Александром Одоевским.

Явление одного из легендарных декабристов в солдатской шинели, но с лицом, в котором каждый встречный признавал человека благородного и более высокого и значимого, поразило Огарёва в первую же встречу. Во взгляде пережившего столь много: и утрату товарищей, и многолетнюю ссылку, и тяжести солдатской жизни, он не увидел ни апатии Лахтина, ни романтической восторженности Сатина. Это был взгляд человека, знающего главную тайну жизни, ответ на вопрос: для чего он пришёл в этот мир.

Он никого не винил за выпавшие на его долю невзгоды, снося их по-христиански спокойно, и никого не судил, хотя его и призывали в судьи.

Вот и Огарёв, желая продолжить знакомство и услышать мнение истинного знатока и ценителя, послал свои стихи на его суд.

И Одоевский их принял, проникшись к автору искренним участием. И с этого момента оба почувствовали потребность общения.

... И ещё с одним человеком Огарёв познакомился и сблизился благодаря Сатину. В первые же дни тот привёл к устроившимся Огарёвым доктора.

Врач штаба кавказских войск Николай Васильевич Майерб был вольнодумцем, охотно общался с декабристами, отчего находился под пристальным вниманием надзорных органов. Внешне он был не красив, но привлекателен. Большой лоб, глубоко сидящие глаза, толстые губы. К тому же одна нога короче другой. И в то же время доброта, живой взгляд, острый ум и отчаянная смелость в суждениях. Майер свёл Огарёва с декабристами, которые теперь бывали у них почти ежедневно, как и Одоевский.

На его глазах доктор пережил личную драму.

Майера трудно было отнести к людям чувственным. Во -первых, он был врачом, а значит, хорошо знал анатомические особенности человека, а во-вторых, воинствующим атеистом, из-за чего не раз попадал в неприятные ситуации, приобретя характеристику скептика и материалиста.

Так вот этот скептик вдруг влюбился. А вскружила ему голову молодая стройная черноглазая красавица с косой до пят. И, растопив сердце умудрённого жизнью, но, как оказалось, легковерного мужчины, она быстро к нему охладела, сначала обманывая, а затем откровенно пренебрегая ищущим ответного влечения доктором.

Наблюдая эту скоротечную драму и сопоставляя свои переживания с переживаниями Майера, Огарёв находил немало похожего. Мария теперь уже не стремилась разделить с ним его интересы, она хотела жить своей жизнью. Прежде ему казалось, что они настолько близки, что его устремления, его радости так же важны и понятны ей. Но вот теперь он всё более убеждался, что это далеко не так. Жену привлекали веселье, праздные разговоры, флирт. Нет, он верил ей, старался, как мог, не скучать на вечерах, куда шёл, подчиняясь её желанию, но это было пустым проведением времени и отвлечением от более важных встреч и разговоров и вызывало неизбежное раздражение и горечь.

В Пятигорске после довольно долгого перерыва он вновь начинает писать стихи.

*Но я не сплю, и в поздней ночи
Моё окно
Растворено.
Мне тихо месяц светит в очи,
И звёзды в трепетных огнях
Горят на ярких небесах.
Долина дремлет под туманом,
И величаво возлегла
Гора над нею великаном
И тень далеко навела.
И в час величия ночного
Как много дум
Рождает ум.
И чувство ясное святого
Душе так живо предстоит,
И как свободно мысль летит
В пределы мира неземного!..
И человеку есть призванье:
Всё, всё, что только есть,
Всё в область ясную сознанья
Из жизни внешней перенести.*

Но всё-таки его более занимают мысли о справедливом устройстве общества. Он встречается с декабристами, этими легендарными, пусть и постаревшими и уставшими «первенцами свободы», пытаясь постичь их силу духа, понять идеи, укрепляющие этот дух.

Так пролетают день за днём, обогащая его знанием чужого опыта, без которого невозможно выстроить жизнеспособную философию, это он теперь хорошо понимал, хотя ещё совсем недавно, перед поездкой, воображал, что уже всё ему очевидно: и справедливое устройство государства, и счастливые принципы его свободных граждан... Оставаясь верным своей клятве с Герценом отдать все силы служению людям, он, тем не менее, теперь многое переосмыслил, находя в прошлых поступках немало романтического, но не полезного...

Неожиданно для себя он узнал, что после ссылки большинство декабристов стало набожным.

Но особенно его поразил князь Одоевский. Будучи корнетом конногвардейского полка, в девятнадцать лет он вышел на площадь 14 декабря 1825 года, готовый умереть за идею. Он выделялся среди всех декабристов спокойствием и удивительными суждениями. Огарёв определил его христоподобным и не скрывал своей любви, любви ученика к мудрому учителю. И в то же время не мог до конца постичь смирения князя, его покорность страданиям...

Наконец он пришёл к выводу, что эта жертвенность в князе именно от безмерной Христовой любви к людям, даже если они этого и не достойны. И чем дальше узнавал, тем больше постигал высоту, которой тот достиг, напрочь отказавшись от самолюбования, которое порой так мешало Огарёву...

В Одоевском всё было удивительно.

И внешний облик, в котором сочетались красота и светлый ум, и суждения, показывающие образованность и пылкое воображение.

И то, что он не записывал свои стихи, как все остальные. Он их сочинял в голове, потом читал наизусть и не очень-то желал, чтобы их записывали другие.

Разница в возрасте (более десяти лет) и в жизненном опыте, в котором был и самоотверженный декабрь, суд, каторга в Сибири, ссылка там же, а затем по ходатайству перевод рядовым на Кавказ, довольно скоро определила их отношения. И ученик старался ежедневно видеть учителя, не обращая внимания на то, что Марии это не нравится и что они всё более отдаляются друг от друга...

К концу южного лета Огарёвы переехали в Железноводск. Следом туда же приехали Сатин и Одоевский.

Железноводск из всех окрестных мест более всего понравился Огарёву. Дикая прелесть и тенистая свежесть этой лесной долины после палимого солнцем Пятигорска давала отдохновение, склоняла к философским беседам.

...В этот вечер они втроём решили прогуляться.

Звёзды уже всю горели в небесах, деревья по сторонам тропинки нависали над ней и создавали иллюзию закрытой от окружающего мира аллеи, свет месяца мягко пробивался сквозь густую листву. Они прошли к источнику, присели на скамейку. Попросили Одоевского прочесть свои стихи. Тот не стал отказываться, мелодичным голосом начал читать. И слушатели поддались очарованию и этой теплой августовской ночи, напоенной ароматом созревших южных плодов и знойной степи, и тайне чарующих звуков, и магии рифмованных строк.

*Взгляни, утешь меня усладой мирных дум,
Степных небес заманчивая Пери!
Во мне грусть тихая сменила бурный шум,
Остался дым от пламенных поверий.
Теперь, томлю ли грусть в волнении людей,
Меня смешит их суетная радость;
Ищу я думою подёрнутых очей;
Люблю речей задумчивую сладость.
Меня тревожит смех дряхлеющих детей,
С усмешкою гляжу на них угрюмой.
Но жизнь моя цветёт улыбкою твоей,
Твой ясный взор с моей сроднился думой.
О Пери! улети со мною в небеса,
В твою отчизну, где всё негой веет,
Где тихо и светло, и времени коса*

*Пред цветом жизни цепенеет.
Как облако плывёт в иной, прекрасный мир
И таит, просияв вечернею зарёю,
Так полечу и я, растаю весь в эфир
И обовью тебя воздушной пеленою.*

– Вам обязательно надо записывать всё, что вы сочиняете, – прервал молчание Сатин.

– Зачем? – произнёс Одоевский.

– Чтобы другие могли насладиться... – горячо поддержал товарища Огарёв. – И надобно издать отдельный том...

– Всё это лишнее, – не согласился Одоевский. – Я вам прочёл, и этого достаточно... И эти звуки останутся в этой ночи, под этим небом...

– Разве вам не хочется, чтобы их гармония доставляла удовольствие как можно большему числу людей? – спросил Сатин.

– Нет, мой друг, это совсем не нужно, – покачал головой князь. – Слово изречённое есть мысль, а разве мы можем заковать в кандалы мысль?.. В Сибири в остроге держали наши тела, но не мысли. Наши мысли были свободны тогда даже, может быть, более, чем сейчас... А все наши мысли приходят от Бога, от Всевышнего, и они принадлежат Ему... И только Ему. От Него приходят и к Нему возвращаются... И Он позволяет слушать изречённое тому, кому это нужно, необходимо для исполнения предназначения... Вот отчего их бессмысленно приковывать к листу бумаги.

– Но ведь именно благодаря этим прикованным мыслям наших предшественников и современников мы образовываемся, постигаем этот подлунный мир, – не согласился Огарёв. – Вы сами впитывали и, я уверен, впитываете и сегодня мысли мудрецов, оставивших свои труды...

– Да, это так, но лишь потому, что я не могу их слушать, – улыбнулся Одоевский. – И если вдруг мои сочинения будут нужны будущим поколениям, они придут к ним. И не обязательно через книжный том... Мы слишком много вообразили о себе... Мы столь мало знаем о мире и о своём предназначении, что не осмеливаемся в этом признаться и тщимся поставить себя вровень с Господом, обманываясь, веря, что сами распоряжаемся своей судьбой, что способны переделать по-своему этот мир. И в этом заблуждаемся. И любая тварь, тот же муравей, выше нас, ибо он не посягает на своё предназначение, на Истину – он частица её...

Сатин хотел что-то возразить, но промолчал.

У Огарёва тоже вертелось на языке возражение: разве можно сравнивать человека с муравьём? И не противоречат ли эти слова поступку Одоевского тогда, в 1825 году?.. Но ночь была так мягка и так растворяла их в себе, сближая со звёздами, с Богом, и он вдруг вспомнил поразивший его случай, отчего-то засевший в памяти, словно имевший важный, пока не разгаданный смысл, и вдруг решил рассказать о нём.

– Я не так давно ходил в гору к гроту. Там сел почитать. Вдруг что-то прошуршало, взглянул: змея вползла в грот. Длинная, красивая по-своему... Вползла, подняла голову и шевелит своим язычком. И вы знаете, я нисколько не испугался, подумал: вот оно, изящество создания Божия... Сидел и верил в провидение...

Он замолчал.

– А что дальше? – спросил после паузы Сатин.

– Прошипела и уползла...

– В этом мире всё сообразно Замыслу, но и непостижимо нашему уму. И наши души принадлежат только Богу. Он один ими распоряжается, отчего всё с нами происходящее нужно воспринимать смиренно, – произнёс Одоевский.

С этим утверждением Огарёв совсем не хотел соглашаться, но и спорить не было никакого желания: звенящая южная ночь вызывала неясное томление, и он лишь посожалел, что

завели этот разговор, в голове всё ещё звучали напевные строки услышанного стихотворения, ему всё ещё виделся светлый женский образ, который, явившись на краткий миг, теперь безвозвратно исчезал...

Он попытался вспомнить свои чувства к той Марии, от которой три года назад потерял голову, но вместо этого всё возвращался к нынешней, считавшей его углубление в философию бесполезным занятием; да и прочие его заботы, встречи со знакомыми не вызывали в ней ничего, кроме скуки, отчего и муж становился скучен, и его приятели, и всё, что с ними было связано...

Он вспомнил недавний вечер, когда сидели они втроём, он, Мария и Сатин, у окна их дома, созерцая отходящую от знойного дня улицу, и молчали, не находя общей, интересной всем троим темы. И он чувствовал: лишней здесь была она, им с Сатиным было о чём поговорить, но оба знали, что это не будет интересно ей, и оттого не заводили разговор.

И было душно.

А единственная в Пятигорске шарманка играла где-то малороссийскую мелодию, пронзительно грустную.

И Николай вдруг ясно осознал, что их отношения с Марией не секрет для его товарища и тот сочувствует ему...

Они попрощались в тот вечер с Сатиным, ни слова не сказав друг другу о своём знании неизбежности его будущего расставания с Марией...

– Пойдёмте, уже совсем ночь, – поднялся со скамейки Сатин. – Август здесь самый чувственный месяц.

– Пойдёмте, – согласился Одоевский. – Скоро жизнь разведёт нас по своим дорогам, но эта ночь уже нам не принадлежит...

Война и свобода...

1

Как же соблазнительна и упоительна свобода! Особенно когда тебе нет двадцати и впереди свершение грандиозных планов, удовлетворение давних и даже тайных желаний, от которых ещё вчера приходилось отказываться в силу множества причин: возраста и положения в обществе, ответственности перед родными и близкими, принятых правил поведения, придуманных обязанностей. Теперь же он свободен поступать так, как посчитает нужным, как захочет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.